

Annotation

Повесть «Все течет...» увидела свет сначала в Германии в 1970 году, а спустя 19 лет — в СССР. «Все течет...» — история человека, проведшего в ГУЛАГе 30 лет. Повесть эту Гроссман в 1963 году, незадолго до смерти, переработал и дописал. В ней он отразил свои раздумья о судьбе России, о том, что корни ее несчастий не в ленинско-сталинских изуверствах, а гораздо глубже — в русском рабстве, которое причудливым образом переплелось с идеями прогресса и революции.

- [Василий Гроссман](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)

- [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
-

Василий Гроссман

Все течёт

В Москву хабаровский поезд приходил к девяти часам утра. Молодой человек в пижаме почесал вихрастую голову и поглядел в окно на осенний утренний полусумрак. Зевая, он обратился к людям с полотенцами и мыльницами, стоявшим в проходе:

— Граждане, кто тут у нас крайний?

Ему объяснили, что за дядей, державшим искореженный тюбик зубной пасты и кусок мыла, облепленный газетной бумагой, заняла очередь полная гражданка.

— Почему только одна уборная открыта? — проговорил молодой человек.

— Ведь приближаемся к конечному пункту — столице, а проводники только товарооборотом заняты, по-культурному обслужить пассажира у них времени не хватает.

Через несколько минут появилась толстая женщина в халате, и молодой человек сказал ей:

— Гражданка, я за вами, а пока пойду к себе, чтобы в проходе не болтаться.

В купе молодой человек раскрыл оранжевый чемодан и залюбовался своими вещами.

Из его соседей — один, со вздутым широким затылком, храпел, второй — румяный, лысый и молодой, разбирал бумаги в портфеле, а третий, худой старик, сидел, подперев голову коричневыми кулаками, и смотрел в окно. Молодой человек спросил румяного спутника:

— Вы читать больше не будете? Надо книжонку уложить в чемодан.

Ему хотелось, чтобы сосед полюбовался чемоданом. Тут были вязаные сорочки, и «Краткий философский словарь», и плавки, и защитные от солнца очки в белой оправе. Прикрытые мелкокалиберной районной газетой с краю лежали серые коржики домашнего, деревенского печения.

Сосед ответил:

— Прошу, я эту книгу, «Евгения Гранде», уже читал в прошлом году в санатории.

— Сильная вещичка, ничего не скажешь, — проговорил молодой человек и уложил книгу в чемодан.

В дороге они играли в преферанс, а выпивая и закусывая, разговаривали о кинокартинах, пластинках, мебельных гарнитурах, сочинских санаториях, о социалистическом земледелии, спорили, чье нападение лучше — «Спартака» или «Динамо»...

Румяный, лысый работал в областном городе инструктором ВЦСПС, а вихрастый возвращался после отпуска, проведенного в деревне, в Москву, где он состоял экономистом в Госплане РСФСР.

Третий спутник, сибирский прораб, храпевший сейчас на нижней полке, не нравился им своею некультурностью: он матерился, рыгал после еды, а узнав, что попутчик работает в Госплане по части экономических наук, спросил:

— Политическая экономия, как же, это про то, как колхозники ездят из деревни в город хлеб у рабочих покупать.

Как-то он сильно выпил в буфете на узловой станции, куда, как он говорил, бегал отмечаться, и долго не давал своим спутникам уснуть, все шумел:

— По закону в нашем деле ничего не добьешься, а если хочешь дать план, надо работать, как жизнь требует: «Я тебе дам, и ты мне дай». При царе это называлось — частная инициатива, а по-нашему: дай человеку жить, он жить хочет; вот это экономика! У меня арматурщики целый квартал, пока новый кредит пришел, расписывались заместо няnek в яслях. Закон против жизни идет, а жизнь требует! Дал план, на тебе надбавку и премию, но, между прочим, и десять лет могут припаять. Закон против жизни, а жизнь против закона.

Молодые люди молчали, а когда прораб притих, вернее, не притих, а, наоборот, стал громко храпеть, они осудили его:

— К таким тоже следует присматриваться. Под маской братишки.

— Деляга. Беспринципный. Вроде какого-то Абраши.

Их сердило, что этот грубый, с глубинки человек относился к ним презрительно.

— У меня на стройке заключенные работают, они таких, как вы, придурками называют, а придет время и станут разбираться, кто коммунизм построил, окажется, вы пахали, — сказал им как-то прораб и пошел в соседнее купе играть в подкидного.

Четвертый спутник, видимо, нечасто ездил в плацкартном вагоне. Он большей частью сидел, положив ладони на колени, словно прикрывая заплатами на штанах. Рукава его черной сатиновой рубахи кончались где-то между локтями и кистями рук, а белые пуговицы на воротнике и на груди придавали ей вид детской, мальчишеской. Что-то смешное и трогательное бывает в этом соединении белых детских пуговиц на одежде с седыми висками, взглядом стариковских, измученных глаз.

Когда прораб сказал привычным к команде голосом:

— Папаша, пересядь от столика, я сейчас чай пить буду, — старик посолдатски вскочил и вышел в коридор.

В его деревянном чемодане с облупившейся краской рядом с застиранным бельем лежала буханка крошащегося хлеба. Курил он махорку и, свернув папироску, шел дымить в тамбур, чтобы скверный дым не тревожил соседей.

Иногда спутники угощали его колбаской, а прораб как-то преподнес ему крутое яичко и стопочку московской.

Говорили ему «ты» даже те, кто был вдвое моложе его, а прораб все подшучивал, что «папаша» выдаст себя в столице за холостого и женится на молодой.

Как-то в купе зашел разговор о колхозах, и молодой экономист стал осуждать сельских лодырей.

— Я теперь убедился своими глазами, соберутся возле правления и почесываются. Пока председатель и бригадиры погонят на работу, десятью потоками обольются. А колхознички жалуются, что им на трудодень при Сталине вовсе не платили и что теперь еле-еле получают.

Профсоюзный инспектор, задумчиво тасуя колоду карт, поддержал его:

— За что ж им, друзьям, платить, если они поставок не выполняют. Их надо воспитывать, вот. — И он покачал в воздухе большим крестьянским, отвыкшим от работы белым кулаком.

Прораб погладил себя по толстой груди с просаленными орденовыми ленточками:

— Мы на фронте с хлебом были, накормил нас русский народ. И никто его не воспитывал.

— Вот правильно, — сказал экономист. — Все же главное в том, что мы русские люди. Шутка ли: русский человек!

Инспектор, улыбаясь, подмигнул своему дорожному приятелю: то, что называется: русский — старший брат, первый среди равных!

— Оттого и зло берет, — проговорил молодой экономист, — ведь русские же люди! Не нацмены. Ко мне один разогнался: «Липовый лист пять лет ели, с сорок седьмого года на трудодень не получали». А работать не любят. Не хотят понять — теперь все от народа зависит.

Он оглянулся на седого мужика, молча слушавшего разговор, и сказал:

— Ты, папаша, не сердись. Не выполняете вы трудового долга, а государство к вам лицом повернулось.

— Куда им, — сказал прораб. — Сознательности никакой, каждый день кушать хотят.

Разговор этот ничем не кончился, как и большинство вагонных и невагонных разговоров. В купе заглянул, блестя золотыми зубами, майор авиации и с укором сказал молодым людям:

— Что же это вы, товарищи? А работать кто будет?

И они пошли к соседям доигрывать пульку. Но вот и прошла огромная дорога... Пассажиры убирают в чемоданы тапочки, выкладывают на столики куски зачерствелого хлеба, обглоданные до голубизны куриные кости, куски побледневшей, окутанной шкурками колбасы.

Вот уже прошли хмурые проводницы, собиравшие мятые постельные принадлежности.

Скоро рассыплется вагонный мир. Забудутся шутки, лица, и смех, и судьба, случайно рассказанная, и случайно высказанная боль.

Все ближе огромный город, столица великого государства. И уж нет дорожных мыслей и тревог. Забыты беседы с соседкой в тамбуре, где перед глазами за мутными стеклами проносится великая русская равнина, а за спиной тяжело екает в резервуарах вода.

Таает возникший на несколько дней тесный вагонный мир, равный законами всем иным, созданным людьми мирам, прямолинейно и криволинейно движущимся в пространстве и времени.

Велика сила огромного города. Она заставляет сжиматься и беспечные сердца тех, кто едет в столицу гостить, рыскать по магазинам, сходить в зоопарк, планетарий. Всякий, попавший в

силовое поле, где напряглись невидимые линии живой энергии мирового города, вдруг испытывает смятение, томление.

Экономист едва не пропустил очереди в уборную. Сейчас, причесываясь, он прошел на свое место и оглядел соседей.

Прораб дрожащими пальцами (немало было пито в дороге) перекладывал сметные листы.

Профсоюзный инспектор уже надел пиджак, притих, оробел, попав в силовое поле людского смятения, — что-то скажет ему желчная седая баба, ведающая инспекторами ВЦСПС.

Поезд проносится мимо бревенчатых деревенских домиков и кирпичных заводов, мимо оловянных капустных полей, мимо станционных платформ с серыми асфальтовыми лужами от ночного дождя.

На платформах стоят угрюмые подмосковные люди в пластмассовых плащах, надетых поверх пальто. Под серыми тучами провисают провода высоковольтных передач. На запасных путях стоят серые, зловещие вагоны: «Станция Бойня, Окружной дороги».

А поезд грохочет и мчится с какой-то злорадной, все нарастающей скоростью. Скорость эта сплющивает, раскалывает пространство и время.

Старик сидел у столика, смотрел в окно, подперев кулаками виски. Много лет назад юноша с лохматой, плохо расчесанной шевелюрой сидел вот так же у окна вагона третьего класса. И хотя исчезли люди, ехавшие вместе с ним в вагоне, забылись их лица, речи, в седой голове вновь ожило то, что, казалось, уж не существовало вовсе.

А поезд уже вошел в зеленый подмосковный пояс. Серый рваный дым цеплялся за ветви елей, прижатый токами воздуха, струился над дачными заборами. Как знакомы эти силуэты суровых северных елей, как странно выглядят рядом с ними голубой штaketничек, остроконечные дачные крыши, разноцветные стекла террас, клумбы, засаженные георгинами.

И человек, который за три долгих десятилетия ни разу не вспомнил что на свете существуют кусты сирени, анютины глазки, садовые дорожки, посыпанные песком, тележки с газированной водой, — ахнул убедившись еще раз, по-новому, что жизнь и без него шла, продолжалась.

Прочтя телеграмму, Николай Андреевич пожалел о чаевых, данных почтальону, — телеграмма, очевидно, предназначалась не ему, и вдруг он вспомнил, ахнул: телеграмма была от двоюродного брата Ивана.

— Маша! Маша! — позвал он жену.

Мария Павловна, взяв телеграмму, проговорила:

— Ты ведь знаешь, я без очков совершенно слепая, дай-ка мне очки. Вряд ли его пропишут в Москве, — сказала она.

— Ах, да оставь о прописке.

Он провел ладонью по бровям и сказал:

— Подумать, приедет Ваня и застанет одни могилы, одни могилы.

Мария Павловна задумчиво сказала:

— Как неудобно получается с Соколовыми. Подарок-то мы пошлем, но все равно нехорошо, ему ведь пятьдесят лет, особая дата.

— Ничего, я объясню.

— И с юбилейного обеда пойдет новость по всей Москве, что Иван вернулся и с вокзала прямо к тебе.

Николай Андреевич потряс перед ней телеграммой:

— Да ты понимаешь, кто такой Ваня для моей души?

Он сердился на жену: ерунда, с которой обращалась к нему Мария Павловна, возникла в его сознании еще до того, как жена заговорила с ним. Так не раз уж случалось. Оттого-то он вспыхивал, видя свои слабости в ней, но не понимал, что негодует не об ее несовершенствах, а о своих собственных. А отходил он в спорах с женой так легко и быстро потому, что любил себя; прощая ей, он прощал себя.

Сейчас и ему упорно лезла в голову глупая мысль о пятидесятилетии Соколова. И потому, что его потрясло известие о приезде двоюродного брата и его собственная жизнь, полная правды и неправды, встала перед ним, — ему стыдно было жалеть о парадном ужине у Соколовых, о симпатичном соколовском флаконе с водкой.

Он стыдился убогости своих соображений, — ведь и у него мелькнула мысль, что придется маяться с пропиской Ивана, мысль, что всей Москве станет известно о возвращении Ивана и событие это как-то да отзовется на его шансах при выборах в Академию...

А Мария Павловна продолжала мучить Николая Андреевича тем, что случайные и мнимые — не ставшие действительными — его мысли высказывала вслух, доводила до дневной очевидности.

— Странная ты, — проговорил он. — Мне кажется, было бы приятней получить эту телеграмму, когда тебя нет дома.

Слова эти были обидны для нее, но она знала, что Николай Андреевич сейчас обнимет ее и скажет: «Маша, Маша, вместе будем радоваться, с кем же, как не с тобой!»

И действительно так — а она стояла с выражением терпеливым и неприятным, означавшим: «От твоих ласковых слов удовольствия мне никакого нет, но я потерплю».

А уже после этого глаза их встретились, и чувство любви исправило все злое.

Двадцать восемь лет, не разлучаясь, прожили они, — трудно понять и разобраться, каковы отношения людей, проживших почти треть века вместе.

Теперь, седая, она подходила к окну, глядела, как он, седой, садился в автомобиль. А когда-то они обедали в столовке на Бронной.

— Коля, — тихо сказала Мария Павловна, — ведь Иван никогда не видел нашего Валу. Его посадили, Вали еще не было на свете, а теперь, когда он возвращается, Валя уже восемь лет в могиле.

И эта мысль поразила ее.

Николай Андреевич, ожидая двоюродного брата, думал о своей жизни и готовился покаяться в ней Ивану. Он представлял себе как будет показывать Ивану дом. Вот в столовой текинский ковер, черт, посмотри, красиво ведь? У Маши хороший вкус, не секрет от Ивана, кем был ее отец а в старом Петербурге, слава богу, понимали толк в жизни.

Как говорить с Иваном? Ведь прошли десятилетия, жизнь прошла. Нет, о том и будет разговор, — не прошла жизнь! Только теперь начинается она!

Да, это будет встреча! Иван приезжает в удивительное время, сколько после смерти Сталина перемен. Они коснулись всех. И рабочих, и крестьян. Ведь хлеб появился! И вот Иван вернулся из лагеря. И не он один. И в жизни Николая Андреевича произошел многое определивший перелом.

Со студенческих лет Николай Андреевич испытывал на себе тяжесть неудачливости. Эта тяжесть была особенно мучительна тем, что казалась ему несправедливой. Он был образован, много работал, считался остроумным рассказчиком, в него влюблялись женщины.

Он гордился званием честного, принципиального человека, но вообще-то был чужд постному лицемерию, любил веселые анекдоты за ужином, отлично разбирался в сложной нумерации сухих вин и часто, пренебрегая вином, переходил на водку.

Когда знакомые хвалили характер Николая Андреевича, Мария Павловна, глядя на мужа веселыми, сердитыми глазами, говорила:

— Пожили бы с ним под одной крышей, вы бы узнали чудного Коленьку: деспот, псих, а эгоист такой, какого свет не видел.

Порой они невыносимо раздражали друг друга знанием всех слабостей, всех недостатков своих. Иногда даже казалось, что легче разойтись. Но это только казалось, видимо, жить друг без друга они не могли или, живя порознь, сильно страдали бы.

Мария Павловна влюбилась в Николая Андреевича еще школьницей, его голос, его большой лоб, большие зубы, его улыбка, — все, казавшееся тридцать лет назад удивительным и прекрасным, с годами становилось для нее все милее.

И он любил ее, но его любовь менялась, и то, что в их отношениях было когда-то главным, теперь отошло, а то, казавшееся не самым значительным, заняло главное место.

Мария Павловна была когда-то хороша — высокая, темноглазая. И теперь ее движения отличались легкостью, а глаза не теряли молодой прелести. Но и в молодости, а теперь особенно, прелесть ее лица портила улыбка, — при улыбке открывались большие, выдающиеся вперед нижние зубы.

Николай Андреевич со студенческих лет болезненно ощущал свою неудачливость. Не его тщательно подготовленные доклады, а торопливые сообщения рыжего Радионова либо пьянчужки Пыжова вызывали волнение участников студенческих семинаров...

Николай Андреевич стал старшим научным сотрудником в знаменитом научно-исследовательском институте, напечатал десятки работ, защитил докторскую диссертацию. Но только жена знала, какие терзания и унижения переживал Николай Андреевич.

Несколько человек, из которых один был академиком, двое занимали положение худшее, чем Николай Андреевич, а один даже не защитил кандидатской степени, были главной живой силой его науки. Эти люди ценили Николая Андреевича как собеседника, уважали его порядочность, но искренне, совершенно добродушно не считали его ученым.

Он постоянно ощущал атмосферу напряженности и восхищения, которая сопутствовала этим людям, особенно хромому Мандельштаму.

Однажды лондонский научный журнал написал о Мандельштаме: «Великий продолжатель дела создателей современной биологии». Когда Николай Андреевич прочел эту фразу, ему показалось: прочесть о себе такие слова и умереть от счастья.

Мандельштам вел себя нехорошо, — то он бывал угрюм и подавлен, то надменно объяснялся учительским тоном; выпив в гостях, он начинал осмеивать знакомых ученых, называл их бездарностями, а некоторых аферистами и жучками. Эта его черта очень раздражала Николая Андреевича, — ведь ругал Мандельштам тех, с кем дружил и у кого бывал дома. И Николай Андреевич думал, что, вероятно, где-нибудь в другом доме, сидя в гостях, Мандельштам именуется и Николая Андреевича жучком и бездарностью.

Раздражала его и жена Мандельштама — толстая, когда-то бывшая красивой женщина, любившая, казалось, лишь азартные карточные игры да научную славу своего хромого мужа.

И в то же время он тянулся к Мандельштаму, говорил, что таким, особенным, людям нелегко бывает в жизни.

Но когда Мандельштам снисходительно поучал Николая Андреевича, тот злился, страдал и ругал, придя домой, Мандельштама выскочкой.

Мария Павловна считала своего мужа человеком большого таланта. Николай Андреевич рассказывал ей о снисходительном безразличии корифеев к его работам, и все яростней становилась ее вера в него. Ее восхищение, ее вера были необходимы ему как водка пьянице. Они считали, что есть люди, которым везет, и есть такие, которым не везет, а в общем-то все одинаковы. Вот Мандельштам отмечен особым везением, какой-то Вениамин Счастливый в биологической науке, а Радионов подобно оперному тенору окружен поклонниками, правда, сходства с оперным тенором у курносого, скуластого Радионова не было никакого. Казалось, и Исааку Хавкину везет, хотя Хавкину не утвердили кандидатской степени, в научные институты его по подозрению в витализме не брали даже в самые тихие времена, и он, уже седой человек, работал в районной санитарно-бактериологической лаборатории, ходил в порванных брюках. Но вот к нему ездят толковать академики, и он в жалкой лаборатории ведет научную работу, о которой многие говорят и спорят.

Когда началась кампания по борьбе с вейсманистами, вирховианцами, менделистами — Николай Андреевич был огорчен суровостью мер, принятых против многих его товарищей по работе. И он, и Мария Павловна расстроились, когда Радионов не пожелал признать свои ошибки. Радионова уволили, и Николай Андреевич, ругая его за бессмысленное донкихотство, устраивал ему переводы с английского.

Пыжова обвинили в низкопоклонстве перед Западом, отправили работать в опытную лабораторию в Чкаловскую область. Николай Андреевич писал ему, посылал книги, а Мария Павловна соорудила для его семьи посылку к Новому году.

В газетах стали печататься фельетоны, разоблачавшие карьеристов, жуликов, мошеннически получивших дипломы и ученые

степени; врачей, преступно жестоко обращавшихся с больными детьми и роженицами; инженеров, строивших вместо больниц и школ дачи для своей родни. Почти все разоблаченные в фельетонах были евреями, и газеты с особой старательностью приводили их имена и отчества: «Сруль Нахманович... Хаим Абрамович... Израиль Мепделевич...» Если в рецензии критиковалась книга, написанная евреем, носящим русский литературный псевдоним, то рядом в скобках печаталась еврейская фамилия автора. Казалось, в СССР одни лишь евреи воруют, берут взятки, преступно равнодушны к страданиям больных, пишут порочные и халтурные книги.

Николай Андреевич видел, что фельетоны эти нравятся не только дворникам и пьяным пассажирам пригородных электричек. Его эти фельетоны возмущали, но в то же время он раздражался против своих друзей евреев, относившихся к этим писулькам так, словно пришел конец света. Они жаловались, что талантливую еврейскую молодежь не принимают в аспирантуру, что евреев не принимают на физический факультет университета, не берут на работу в министерства, в тяжелую да и в легкую промышленность, что кончивших вуз евреев засылают на особо далекую периферию. Говорили, что под сокращения попадали почти всегда одни лишь евреи.

Конечно, все это действительно было, но евреям мерещился какой-то грандиозный государственный план, обрекавший их на голод, вырождение, гибель. А Николай Андреевич считал, что суть дела просто в неприязненном отношении к евреям части партийных и советских работников и что отделы кадров и вузовские приемочные комиссии никаких инструкций по поводу евреев не получают. Сталин не был антисемитом и, вероятно, не знал об этих делах.

Да и не одни только евреи пострадали, досталось и старцу Чурковскому, и Пыжову, и Радионову.

Мандельштама, возглавлявшего научную часть института, сделали сотрудником в том же отделе, где работал Николай Андреевич. Он все же мог продолжать работу, а докторская степень давала ему возможность получать большое жалованье.

Но после того, как в «Правде» появилась редакционная без подписи статья о театральных критиках-космополитах — Гурвиче, Юзовском и других, издевавшихся над русским театром, началась широкая кампания по разоблачению космополитов во всех областях

искусства и науки, и Мандельштама объявили антипатриотом. Кандидат наук Братова написала в стенной газете статью: «Иван, не помнящий родства»; она начиналась словами: «Из дальних странствий возвратись, Марк Самуилович Мандельштам предал забвению принципы русской советской науки...»

Николай Андреевич поехал к Мандельштаму домой, тот был тронут, печален, и его надменная жена уж не казалась такой надменной. Они пили водку, Мандельштам ругал матерными словами Братову — свою ученицу, запустив руки в волосы, горевал, почему его учеников, талантливых мальчиков евреев, гонят из науки.

— Что ж, им в палатках галантереей торговать? — спрашивал он.

— Да не нужно волноваться, будет работа у всех, и у вас, и у Хавкина, и даже у лаборантки Анечки Зильберман, — шутливо сказал Николай Андреевич, — образуется, у всех будет хлеб, да еще с икоркой.

— Боже мой, — сказал Мандельштам, — разве речь об икорке, речь о человеческом достоинстве.

Но насчет Хавкина Николай Андреевич ошибся, с Хавкиным дело повернулось в плохую сторону. Вскоре после того, как в газетах появилось сообщение о врачах-убийцах, Хавкина арестовали.

Сообщение о том, что ученые медики, артист Михоэлс совершили чудовищные преступления, потрясло всех. Казалось, черный туман стоит над Москвой и заползает в дома, в школы, заползает в человеческие сердца.

В заметке «Хроника» на четвертой газетной полосе было сказано, что все обвиняемые врачи признали на следствии свою вину, — значит, нет сомнения — они преступники.

И все же это казалось невыносимым, трудно было дышать, заниматься своим делом, зная о том, что профессора, академики стали убийцами Жданова и Щербакова, отравителями.

Николай Андреевич вспоминал милого Вовси, замечательного актера Михоэлса, и казалось невероятным, невыносимым преступление, в котором их обвиняли.

Но ведь они признались! Если они не виновны, а признали себя виновными, надо предполагать другое преступление, еще более ужасное, чем то, в котором их обвиняли, — преступление против них.

Даже думать об этом было страшно. Надо было обладать отвагой, чтобы усомниться в их вине, — ведь тогда преступники — руководители социалистического государства, тогда преступник Сталин.

Знакомые врачи рассказывали, что работать в больницах и поликлиниках стало мучительно тяжело. Больные под влиянием ужасных официальных сообщений сделались подозрительными, многие отказывались лечиться у врачей евреев. Лечащие врачи рассказывали, что от населения поступает масса жалоб и доносов на умышленно недобросовестное лечение. В аптеках покупатели подозревали фармацевтов в попытках подсунуть им ядовитые лекарства; в трамваях, на базарах, в учреждениях рассказывали, что в Москве закрыто несколько аптек, в которых аптекари евреи — агенты Америки — продавали пилюли с высушенными вшами; рассказывали, что в родильных домах заражают новорожденных и рожениц сифилисом, а в зубоучастках амбулаториях прививают больным рак челюсти и языка. Рассказывали о спичечных коробках со смертельно ядовитыми спичками. Некоторые люди вспоминали обстоятельства смерти давно умерших родственников, писали заявления в органы безопасности с требованием расследований и привлечения к ответственности евреев врачей. Особенно печально было, что всем этим слухам верили не только дворники, полуграмотные и полупьяные грузчики и шоферы, но и некоторые доктора наук, писатели, инженеры, студенты.

Эта всеобщая подозрительность казалась Николаю Андреевичу невыносимой. Лаборантка — большеносая Анна Наумовна — приходила на работу бледная, с сумасшедшими, расширенными глазами; однажды она рассказала, что ее квартирная соседка, работавшая в аптеке, по рассеянности отпустила больному не то лекарство, и когда ее вызвали для объяснений, охваченная ужасом, покончила самоубийством, оставив двух сирот — дочь, студентку музыкального техникума, и сына школьника. Анна Наумовна теперь ходила на работу пешком — в трамваях пьяные затевали с ней разговоры о евреях врачах, убивших Жданова и Щербакова.

Николай Андреевич испытывал гадливое чувство к новому директору института Рыськову. Рыськов говорил, что пора очистить

русскую науку от нерусских имен, однажды сказал: «Пришел конец жидовской синагоге, если бы вы только знали, как я их ненавижу».

И в то же время Николай Андреевич не мог преодолеть невольной радости, когда Рыськов сказал ему: «Ценят вашу работу товарищи в Цека, работу большого русского ученого».

Мандельштам уж не работал в институте, а устроился методистом в учебном комбинате. Николай Андреевич приглашал его к себе, заставлял жену звонить Мандельштаму по телефону; Мандельштам стал нервен, подозрителен, и Николай Андреевич был рад, что Марк Самуилович оттягивал их встречи, они становились все тягостней. В такое время приятней встречаться с жизнерадостными людьми.

Когда Николай Андреевич узнал об аресте Хавкина, он, оглянувшись на телефон, шепотом сказал жене:

— Я убежден в невиновности Исаака, знаю его тридцать лет.

Она вдруг обняла его, погладила по голове.

— Горжусь я тобой, — сказала она, — сколько души ты тратишь на Хавкина и Мандельштама, и только я знаю, сколько обиды они тебе причинили.

А время было трудное. Николаю Андреевичу пришлось выступить на митинге о врачах-убийцах, говорить о бдительности, о ротозействе и благодушии.

После митинга Николай Андреевич разговорился с сотрудником сектора физической химии профессором Марголиным, тоже выступившим с большой речью. Марголин требовал смертной казни для преступников врачей, огласил текст приветствия Лидии Тимашук, разоблачившей врачей-убийц и награжденной орденом Ленина. Этот Марголин был силен в марксистской философии, он руководил занятиями по изучению четвертой главы «Краткого курса».

— Да, Самсон Абрамович, — сказал Николай Андреевич, — трудное времечко. И мне нелегко, но каково вам выступать на эти темы?

Марголин поднял тонкие брови и, вытянув тонкую, бледную нижнюю губу, спросил:

— Простите, я не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду?

— Да так, вообще, — сказал Николай Андреевич. — Ну, знаете, Вовси, Этингер, Коган, кто бы мог предположить, я лежал у Вовси в клинике, персонал его любил, а больные верили, как Магомету.

Марголин поднял худое плечо, пошевелил бескровной бледной ноздрей, сказал:

— А, понял, вы считаете, что мне, еврею, неприятно клеймить этих извергов? Наоборот, именно мне особенно омерзителен еврейский национализм. А если евреи, тяготея к Америке, становятся препятствием в движении к коммунизму, то мне не только себя, родной дочери не жалко.

Николай Андреевич понял, что зря заговорил о любви ротозеев больных к Вовси, — уж если человек родной дочери не жалеет, то с ним следует говорить чеканными формулировками.

И Николай Андреевич сказал:

— Еще бы, обреченность врага — в нашем морально-политическом единстве.

Да, это было тяжелое время, и лишь одно утешало Николая Андреевича — работа его шла хорошо.

Он словно впервые вырвался из узкого цехового пространства и вторгся в живые области, куда его раньше не допускали. Люди стали тянуться к нему, искали его советов, радовались его отзывам. Обычно равнодушные редакции научных журналов начали проявлять интерес к его статьям; как-то ему звонили из ВОКСа — учреждения, которое никогда не обращалось к Николаю Андреевичу, и попросили прислать рукопись еще не оконченной книги, — ВОКСу хотелось заранее поставить вопрос об издании ее в странах народной демократии.

Николай Андреевич по-особому, глубоко, волнуясь, воспринимал приход успеха. Мария Павловна была спокойней его. С Коленькой случилось лишь то, что не могло, по мнению Марии Павловны, не случиться.

А перемен в жизни Николая Андреевича становилось все больше. Новые люди, возглавлявшие институт и выдвигавшие Николая Андреевича, все же не нравились ему, кое-что отталкивало его от них: их грубость и необычайная самоуверенность, их манера обзывать научных противников низкопоклонниками, космополитами, агентами капитала, наймитами империализма. Но он умел видеть в новых людях главное — дерзость, силу.

Неправ был, кстати, Мандельштам, назвавший их безграмотными идиотами, «догматическими жеребцами». В них не уозость была, а

страсть, целеустремленность, идущая к жизни и рожденная жизнью. Потому они и ненавидели талмудистов, абстрактных теоретиков.

И они, новые начальники в институте, чувствуя в Николае Андреевиче человека с иными взглядами, привычками, все же относились к нему хорошо, доверяли ему, русскому человеку. Он получил теплое письмо от Лысенко, тот высоко оценивал его рукопись, предлагал ему сотрудничать.

Николай Андреевич плохо относился к лысенковским теориям, но письмо от знаменитого академика-агронома было ему приятно. Да и работы Лысенко не следовало огульно отрицать. Да и слухи о том, что он очень опасен для своих научных противников и любит прибегать к полицейским аргументам и доносам в научных спорах, видимо, были преувеличены.

Рыськов предлагал Николаю Андреевичу выступить с научным развенчанием изгнанных из биологической науки космополитов. Николай Андреевич отказывался, хотя видел недовольство директора, — тому хотелось, чтобы общественность услышала гневный голос беспартийного русского ученого.

А в это время ходили слухи, что в Восточной Сибири спешно строится огромный барачный город. Говорили, что эти бараки строятся для евреев. Их вышлют так же, как уже выселили калмыков, крымских татар, болгар, греков, немцев Поволжья, балкарцев и чеченцев.

Николай Андреевич понял, что зря сулил Мандельштаму бутерброды с икрой.

Он волновался, ожидая процесса врачей-убийц. Утром он оглядывал газетные листы — не началось ли? Так же, как и все, он гадал, будет ли процесс открытым, и часто спрашивал жену:

— Как ты думаешь, процесс будут публиковать изо дня в день, с прокурорской речью, с допросами, с последним словом подсудимых, или дадут только сообщение о приговоре Военной коллегии?

Под страшным секретом Николаю Андреевичу однажды рассказали, что врачей казнят всенародно на Красной площади, после чего по стране, видимо, прокатится волна еврейских погромов и что к этому времени приурочивается высылка евреев в тайгу и в Каракумы на строительство Туркменского канала. Эта высылка будет предпринята в защиту евреев от справедливого, но беспощадного народного гнева.

В этой высылке скажется вечно живой дух интернационализма, который, понимая гнев народа, все же не может допустить массовых самосудов и расправ.

Как и все, что совершалось в стране, и это стихийное возмущение против кровавых преступлений евреев было заранее задумано, запланировано. Вот так же задумывались Сталиным выборы в Верховный Совет — заранее собирались объективки, назначались депутаты, а затем уж планоно шло стихийное выдвижение кандидатов, агитация за них, и наконец наступали всенародные выборы. Вот так же назначались бурные митинги протеста, взрывы народного гнева и проявления братской дружбы, вот так же за много недель до праздничных парадов утверждались репортажи с Красной площади: «В эту минуту я гляжу на мчащиеся танки...» Вот так же заранее назначалась личная инициатива Изотова, Стаханова, Дуси Виноградовой, массовые вступления в колхозы, назначались и отменялись легендарные герои гражданской войны, назначались требования рабочих выпускать займы, требования работать без выходных, вот так же назначалась всенародная любовь к вождю, заранее назначались тайные агенты заграницы, диверсанты, шпионы, а затем уж в процессе сложных перекрестных допросов подписывались протоколы, в которых еще недавно не подозревавшие о своей принадлежности к контрреволюционному охвосту бухгалтеры, инженеры, юрисконсульты признавались в многогранной террористической шпионской деятельности. Вот так же назначались великие писатели, любимые народом, вот так же назначались тексты писем, которые матери деревянными голосами зачитывали перед микрофоном, обращаясь к своим сыновьям солдатам; вот так же планировался заранее патриотический порыв Ферапонта Головатого; вот так же назначались участники свободных дискуссий, если почему-либо нужны были свободные дискуссии, заранее составлялись и согласовывались речи участников этих свободных дискуссий.

И вдруг пятого марта умер Сталин. Эта смерть вторглась в гигантскую систему механизированного энтузиазма, назначенных по указанию райкома народного гнева и народной любви.

Сталин умер беспланоно, без указаний директивных органов. Сталин умер без личного указания самого товарища Сталина. В этой свободе, своенравии смерти было нечто динамитное, противоречащее

самой сокровенной сути государства. Смятение охватило умы и сердца.

Сталин умер! Одних объяло чувство горя — в некоторых школах педагоги заставляли школьников становиться на колени и сами, стоя на коленях, обливаясь слезами, зачитывали правительственное сообщение о кончине вождя. На траурных собраниях в учреждениях и на заводах многих охватывало истерическое состояние, слышались безумные женские выкрики, рыдания, некоторые падали в обморок. Умер великий бог, идол двадцатого века, и женщины рыдали.

Других объяло чувство счастья. Деревня, изнывающая под чугунной тяжестью сталинской руки, вздохнула с облегчением.

Линование охватило многомиллионное население лагерей.

...Колонны заключенных в глубоком мраке шли на работу. Рев океана заглушал лай служебных собак. И вдруг словно свет полярного сияния замерцал по рядам: Сталин умер! Десятки тысяч законвоированных шепотом передавали друг другу: «Подох... подох...» и этот шепот тысяч и тысяч загудел, как ветер. Черная ночь стояла над полярной землей. Но лед на Ледовитом океане был взломан, и океан ревел.

Немало было ученых людей и рабочих людей, соединивших при этом известии горе и желание плясать от счастья.

Смятение пришло в тот миг, когда радио передало бюллетень о здоровье Сталина: «Дыхание Чейн-Стокса... моча... пульс... кровяное давление...» Обожествленный владыка вдруг обнаружил свою старческую немощную плоть.

Сталин умер! В этой смерти был элемент свободной внезапности, бесконечно чуждой природе сталинского государства.

Эта внезапность заставила содрогнуться государство, как содрогнулось оно после внезапности, обрушившейся на него 22 июня 1941 года.

Миллионы людей хотели видеть усопшего. В день похорон Сталина не только Москва, но и области, районы устремились к Дому союзов. Очередь периферийных грузовиков вытянулась на многие километры.

Затор движения достиг Серпухова, затем паралич сковал шоссе между Серпуховом и Тулой.

Миллионные пешие толпы шли к центру Москвы. Потоки людей, подобно черным хрустким рекам, сталкивались, расплющивались о камень, корежили, кромсали машины, срывали с петель чугунные ворота.

В этот день погибли тысячи. День коронации царя на Ходынке померк по сравнению с днем смерти земного русского бога — рябого сына сапожника из городка Гори.

Казалось, люди шли на гибель в состоянии очарованности, в христианской, буддийской, мистической обреченности. словно бы Сталин — великий чабан — добирал недобранных овечек, посмертно выбрасывал элемент случайности из своего грозного генерального плана.

Собравшись на заседание, соратники Сталина читали чудовищные сводки московской милиции, моргов и переглядывались. Их растерянность была связана с новым для них чувством — отсутствием ужаса перед неминуемым гневом великого Сталина. Хозяин был мертв.

Пятого апреля Николай Андреевич разбудил, утром жену, отчаянно крикнул:

— Маша! Врачи не виноваты! Маша, их пытали!

Государство признало свою страшную вину — признало, что к заключенным врачам применялись недозволённые методы на допросах.

После первых минут счастья, светлой душевной легкости Николай Андреевич неожиданно ощутил какое-то незнакомое, впервые в жизни пришедшее мутное, томящее чувство.

Это было новое, странное и особое чувство вины за свою душевную слабость, за свое выступление на митинге, за свою подпись под коллективным письмом, клеймящим врачей извергов, за свою готовность согласиться с заведомой неправдой, за то, что это согласие рождалось в нем добровольно, искренне, из глубины души.

Правильно ли он жил? Действительно, как все вокруг считают, был он честен?

В душе все силилось, росло покаянное, томящее чувство.

В тот час, как божественно непогрешимое государство покаялось в своем преступлении, Николай Андреевич почувствовал его смертную земную плоть, — у государства, как и у Сталина, были сердечные перебои, белок в моче.

Божественность, непогрешимость бессмертного государства, оказывается, не только подавляли человека, они и защищали его, утешали его немощь, оправдывали ничтожество; государство перекладывало на свои железные плечи весь груз ответственности, освобождало людей от химеры совести.

И Николай Андреевич почувствовал себя словно бы раздетым, словно бы тысячи чужих глаз смотрели на его голое тело.

И самое неприятное, что и он стоял в толпе, смотрел на себя голого, вместе со всеми разглядывал свои по-бабьи свисающие цицьки, мятый, раздавшийся от большой еды живот, жирные ливерные складки на боках.

Да, у Сталина оказались перебои и нитевидный пульс, государство, оказывается, выделяло мочу, и Николай Андреевич оказался голым под своим коверкотовым костюмом.

Ох, и неприятным оказалось это саморазглядывание: невероятно паскудным был мерзостный список.

В него вписались и общие собрания, и заседания Ученого совета, и торжественные праздничные заседания, и лабораторные летучки, и статейки, и две книги, и банкеты, и хождения в гости к плохим и важным, и голосования, и застольные шутки, и разговоры с заотделами кадров, и подписи под письмами, и прием у министра.

Но в свитке его жизни было немало и иных писем: тех, что не были написаны, хотя бог велел их написать. Было молчание там, где бог велел сказать слово, был телефон, по которому обязательно надо было позвонить и не было позвонено, имелись посещения, которые грех было не совершить и которые не были совершены, были непосланные деньги, телеграммы. Многого, многого не было в списке его жизни.

И нелепо было теперь, голому, гордиться тем, чем он всегда гордился, — что никогда не донес, что, вызванный на Лубянку, отказался давать компрометирующие сведения об арестованном сослуживце, что, столкнувшись на улице с женой высланного товарища, он не отвернулся, а пожал ей руку, спросил о здоровье детей.

Чем уж гордиться...

Вся его жизнь состояла из великого послушания, и не было в ней непослушания.

Вот и с Иваном — три десятилетия Иван скитался по тюрьмам и лагерям, и Николай Андреевич, всегда гордившийся тем, что не отрекся от Ивана ни разу за эти десятилетия не написал ему письма. Когда Иван написал Николаю Андреевичу, Николай Андреевич попросил ответить на его письмо старуху тетку.

Все это раньше казалось естественным и вдруг затревожило, заскребло.

Вспомнилось ему, что на митинге, созванном в связи с процессами 1937 года, он голосовал за смертную казнь для Рыкова, Бухарина.

17 лет он не вспоминал об этих митингах и вдруг вспомнил о них.

Станным, безумным казалось в то время, что профессор горного института, фамилию которого он забыл, и поэт Пастернак отказались голосовать за смертную казнь Бухарину. Ведь сами злодеи признались на процессе. Ведь их публично допрашивал образованный, университетский человек Андрей Януарьевич Вышинский. Ведь не было сомнения в их вине, ни тени сомнения!

Но вот теперь-то Николай Андреевич вспомнил, что сомнение было. Он лишь делал вид, что не было сомнения. Ведь даже будь он в душе уверен в невиновности Бухарина, он все равно бы голосовал за смертную казнь. Ему было легче не сомневаться и голосовать, вот он и притворился перед самим собой, что не сомневался. А не голосовать он не мог, он ведь верил в великие цели партии Ленина-Сталина.

Он ведь верил, что впервые в истории построено социалистическое общество без частной собственности, что социализму необходима диктатура государства. Усомниться в виновности Бухарина, отказаться голосовать значило усомниться в могучем государстве, в его великих целях.

Но ведь и в этой святой вере, где-то в глубине души, жило сомнение.

Социализм ли это — вот с Колымой, с людоедством во время коллективизации, с гибелью миллионов людей? Ведь бывало, что совсем другое лезло в тайную глубину сознания, — уж очень бесчеловечен был террор, уж очень велики страдания рабочих и крестьян.

Да, да, в преклонении, в великом послушании прошла его жизнь, в страхе перед голодом, пыткой, сибирской каторгой. Но был и

особенно подлый страх — вместо зернистой икры получить кетовую. И этому икорному, подлому страху служили юношеские мечты времен военного коммунизма, — лишь бы не сомневаться, лишь бы без оглядки голосовать, подписывать. Да, да, страх за свою шкуру, как бы не содрали с живого ее, и страх потерять зернистую икорку питал его идейную силу.

И вдруг государство дрогнуло, пробормотало, что врачей пытали. А завтра государство признает, что пыткам подвергли Бухарина. Зиновьева, Каменева, Рыкова, Пятакова, что Максима Горького не убили враги народа, А послезавтра государство признает, что миллионы крестьян были зря погублены.

И окажется, что не всемогущее, непогрешимое государство берет на себя все содеянное, а отвечать приходится Николаю Андреевичу, а он-то уж не сомневался, он за все голосовал, подо всем подписывался. Он научился так хорошо, ловко притворяться перед самим собой, что никто, никто и он сам не замечали этого притворства. Он искренне гордился своей верой и своей чистотой.

Мучительное чувство, презрение к самому себе — минутами бывали так велики, что у него возникал горький, пронзительный упрек к государству — зачем, зачем оно призналось! Лучше бы молчало! Оно не имело права признаться, пусть все остается по-прежнему.

Каково-то было профессору Марголину, который заявил, что не только врачей-убийц, но и собственных детей-жиденят он готов умертвить ради великого дела интернационализма.

Невыносимо брать на свою совесть многолетнюю покорную подлость. Но постепенно тяжелое чувство стало успокаиваться. Все, казалось, изменилось и в то же время, оказывается, не изменилось.

Работать в Институте стало несравненно легче, спокойнее. Особенно это почувствовалось, когда Рыськов вызвал недовольство высших инстанций своей грубостью и был снят с поста директора.

Успех, о котором Николай Андреевич мечтал, наконец, пришел, — это был не ведомственный, не министерский, а настоящий, большой успех. Он чувствовался во многом — в журнальных статьях, в высказываниях участников научных конференций, в восхищенных взглядах научных сотрудниц и лаборанток, в письмах, которые стал он получать.

Николай Андреевич был выдвинут в Высший Ученый совет, а вскоре президиум Академии утвердил его научным руководителем Института.

Николай Андреевич хотел вновь привлечь изгнанных космополитов и идеалистов, но оказалось невозможным переспорить начальника отдела кадров, милую и хорошенькую, но чрезвычайно упрямую женщину. Единственно, что удалось сделать, — это предоставить уволенным нештатную работу.

И теперь, глядя на Мандельштама, Николай Андреевич думал, — неужели об этом жалком и беспомощном человеке, приносящем в Институт пачки переводов и аннотаций, несколько лет назад писали за границей как о крупнейшем, чуть ли не великом ученом? Неужели его одобрения так страстно жаждал Николай Андреевич?

Раньше Мандельштам одевался неряшливо, а теперь приходил в Институт в своем лучшем костюме.

Николай Андреевич пошутил по этому поводу, и Мандельштам сказал: «Актер без ангажемента должен быть всегда хорошо одет».

И вот теперь, вспоминая прошлую жизнь, странно, горько и радостно было думать ему о встрече с Иваном.

В семье когда-то установился взгляд, что Ваня превосходит всех своих сверстников и по уму, и в талантах, — и сам Николай Андреевич уверился в этом, собственно, не уверился, в глубине души совсем не уверился, но покорствовал.

Ваня с легкой быстротой прочитывал математические и физические книжицы, разбирался в них, не по-ученически покорно, а всегда по-своему, странно. С детских лет он обнаруживал способности к лепке, умел довольно живо передать в глине подмеченные в жизни выражение лица, странный жест, особенность движения. Рядом с интересом к математике, и это было уж совсем необычайно, в нем жили тяга к Древнему Востоку, он хорошо знал литературу о парфянских рукописях и памятниках.

С детства в характере его странно сочетались, казалось, никогда не объединявшиеся в одном человеке черты.

Маленьким реалистиком он в драке разбил в кровь своему противнику голову, и его двое суток продержали в участке. А вместе с тем он был робок, застенчив, чувствителен и у него имелась в закуте под домом больница, где жили убогие животные, — собака с

отрубленной лапой, слепой кот, печальная галка с выдернутым крылом.

Студентом Иван так же странно соединял в себе деликатность, доброту, застенчивость с безжалостной резкостью, заставлявшей даже близких людей таить на него обиду.

Возможно, эти особенности характера и привели к тому, что не оправдал Иван надежд, — жизнь его сломалась, а уж он сам доломал ее до конца.

В двадцатые годы многие способные молодые люди не смогли учиться из-за своего социального происхождения, — детей дворян, царских военных, священников, фабрикантов и торговцев не принимали в вузы.

Ивана приняли в университет, — он происходил из трудовой интеллигентной семьи. Легко прошел он жестокую университетскую чистку по классовому признаку.

И случись Ивану сейчас начать жизнь, нынешние трудности, связанные с пятым пунктом анкеты, с национальностью, никак бы не коснулись его. Но начни свою жизнь Иван теперь, он, вероятно, бы снова пошел путем неудач.

Значит, дело было не во внешних обстоятельствах. Неудачная, горькая судьба Ивана зависела от Ивана.

В университете он в кружке по изучению философии вел жестокие споры с преподавателем диамата. Споры продолжались, пока кружок не прикрыли.

Тогда Иван выступил в аудитории против диктатуры — объявил, что свобода есть благо, равное жизни, и что ограничение свободы калечит людей подобно ударам топора, обрубающим пальцы, уши, а уничтожение свободы равносильно убийству. После этой речи его исключили из университета и выслали на три года в Семипалатинскую область.

С тех пор прошло около 30 лет, и за эти десятилетия Иван, пожалуй, не больше года был на свободе. В последний раз Николай Андреевич видел его в 1936 году, незадолго до нового ареста, после которого он уже без перерывов провел 19 лет в лагерях.

Долго помнили его товарищи детства и студенческих лет, говорили: «Быть бы Ивану теперь академиком», «Да, был он все же

особый человек, но, конечно, не повезло ему». А некоторые говорили: «Все же он сумасшедший».

Аня Замковская, любовь Ивана, помнила о нем, пожалуй дольше других.

Но время сделало свое дело, и Аня, теперь уж болезненная, седеющая Анна Владимировна, не спрашивала при встречах об Иване.

Из сознания людей, из их горячих и холодных сердец он ушел, существовал скрытно, все трудней появлялся в памяти знавших его.

А время работало не торопясь, добросовестно, — человек сперва выписался из жизни, перекочевал в память к людям, потом и в памяти потерял прописку, ушел в подсознание и теперь возникал редко, как ванька-встанька, пугал неожиданностью своего внезапного, секундного появления.

А время все работало да работало свою на редкость простую земляную работу, и Иван уж занес ногу, чтобы перебраться из темного погребка подсознания своих друзей на постоянное жительство в небытие, в вечное забвение.

Но пришло повое, послесталинское время, и судьба судила Ивану шагнуть вновь в ту самую жизнь, которая уж утратила и мысль о нем, и зрительный его образ.

Он пришел лишь к вечеру.

В этой встрече смешались и досада о перестоявшемся богатом обеде, и тревога, и восклицания о седой голове, морщинах, о прожитой жизни. И увлажнились глаза Николая Андреевича — так в глинистых сухих оврагах вдруг зашумит послегрозовая вода, и заплакала Мария Павловна, вновь хороня сына.

Не сходны были с миром паркетных полов, книжных шкафов, картин, люстр — темное морщинистое лицо, ватник, неловко ступавшие солдатские ботинки человека из лагерного царства.

Подавляя волнение, глядя затуманенными слезами глазами на двоюродного брата, Иван Григорьевич сказал:

— Николай, прежде всего вот что: у меня к тебе не будет никаких просьб — ни о прописке, ни о деньгах и обо всем прочем. Кстати, я уже в бане побывал, зверья не занесу.

Николай Андреевич, утирая слезы, стал смеяться.

— Седой, в морщинах, и тот же, тот же, наш Ваня.

И он сделал в воздухе округлый жест, а затем проткнул этот воображаемый круг пальцем.

— Невыносимый, прямой, как оглобля, и вместе с тем, черт тебя знает, добрый.

Мария Павловна посмотрела на Николая Андреевича — она утром доказывала мужу, что Ивану Григорьевичу лучше помыться в бане, в ванне никогда так не помоешься, да и после мытья Ивана ванну не отмоешь ни кислотой, ни щелоком.

В пустом разговоре была не только пустота, — улыбки, взгляды, движения рук, покашливание, все это помогало раскрывать, объяснять, понимать наново.

Николаю Андреевичу очень хотелось рассказать о себе, хотелось больше, чем вспоминать детство и перечислять умерших родных, больше, чем расспрашивать Ивана. Но так как он был воспитан, то есть умел делать и говорить не то, что хотелось, он сказал:

— Надо бы нам поехать куда-нибудь на дачу, где нет телефонов, и слушать тебя неделю, месяц, два.

Иван Григорьевич представил себе, как, сидя в дачном кресле и попивая вино, он стал бы рассказывать о людях, ушедших в вечную тьму. Судьба многих из них казалась так пронзительно печальна, и даже самое нежное, самое тихое и доброе слово о них было бы как прикосновение шершавой, тупой руки к обнажившемуся растерзанному сердцу. Нельзя было касаться их.

И, качая головой, он сказал:

— Да, да, да — сказки тысячи и одной полярной ночи.

Он был взволнован. Где же он, Коля: тот ли, в потертой сатиновой рубашке, с английской книжкой под мышкой, веселый, остроумный и услужливый, или этот — с большими мягкими щеками, с восковой лысиной?

Всю жизнь был Иван сильным. Всегда к нему обращались с просьбой объяснить, успокоить. Иногда даже обитатели уголовной лагерной «Индии» просили его слова. Однажды ему удалось приостановить поножовщину между ворами и «суками». Его уважали разные люди — и инженеры-вредители, и оборванный старик кавалергард, и деникинский подполковник — мастер лучковой пилы, и минский врач-гинеколог, обвиненный в еврейском буржуазном национализме, и крымский татарин, роптавший, что его народ с берегов теплого моря изгнан в тайгу, и колхозник, смыливший в колхозе мешок картошки, с расчетом не вернуться после отбытия срока в колхоз, получить по лагерной справке шестимесячный городской паспорт.

Но в этот день ему хотелось, чтобы чьи-то добрые руки сняли с его плеч тяжесть. И он знал, что была одна лишь сила, перед которой и чудно и хорошо ощутить себя малым и слабым, — сила матери. Но давно не было у него матери, и некому было снять с него тяжесть.

Николай Андреевич испытывал странное чувство, совершенно невольно возникшее.

В ожидании Ивана он с умилением думал о том, что будет с ним до конца искренен, как ни с кем в жизни. Ему хотелось исповедаться перед Иваном во всех страданиях совести, со смирением рассказать о горькой и подлой слабости своей.

Пусть Ваня судит его, если может, поймет, если может — простит, а не поймет, не простит, что ж, бог с ним. Он волновался, слезы застилали глаза, когда он повторял про себя некрасовские строки:

Сын пред отцом преклонился,
Ноги омыл старику...

Ему хотелось сказать двоюродному брату: «Ваня, Ванечка, дико, странно, но я завидую тебе, завидую тому, что в страшном лагере ты не должен был подписывать подлых писем, не голосовал за смертную казнь невинным, не выступал с подлыми речами...»

И вдруг, неожиданно возникло совершенно противоположное чувство, едва увидел он Ивана. Человек в ватнике, в солдатских ботинках, с лицом, изъеденным морозами и барачной махорочной духотой, показался ему чужим, недобрый, враждебным.

Такое чувство возникало у него во время заграничных поездок. За границей ему казалось немыслимым, невозможным говорить с холеными иностранцами о своих сомнениях, делиться с ними горечью пережитого.

Иностранцам он говорил не о тревогах своих, а лишь о главном и бесспорном, об исторических достижениях Советского государства. Он защищал от них себя, свою родину.

Мог ли он предполагать, что подобное чувство вызовет у него Иван? Почему? Отчего? Но именно так оно было.

Ему теперь казалось, что Иван пришел, чтобы перечеркнуть его жизнь. Вот Иван унизит его, заговорит с ним снисходительно, надменно.

И ему страстно захотелось втолковать, объяснить Ивану, что все изменилось и стало по-новому, что все старые оценки перечеркнуты и Иван повержен, разбит, что горькая судьба его не есть случайность. Да, да, седой неудачливый студент... Что за плечами его, что ждет его впереди?

И, должно быть, именно потому, что так страстно, упорно захотелось Николаю Андреевичу сказать все это Ивану, он сказал прямо противоположное.

— Удивительно, как это хорошо. В главном, Ваня, мы с тобой равны. И я хочу сказать тебе, — если у тебя появляется ощущение потерянных десятилетий, пропавшей жизни, теперь, когда ты встретишься с людьми, прожившими эти годы не в труде дровосека и землекопа а писавших книги и прочее, — гони это ощущение! В

главном, Ванечка, ты равен тем кто двигал науку, успел в жизни и труде.

И он почувствовал, как задрожал от волнения его голос и сладко защемило сердце.

Он увидел смущение Ивана, увидел, как вновь затуманились слезами волнения глаза жены.

Ведь он любил Ивана, любил, всю жизнь любил его.

Мария Павловна никогда, казалось, так полно не ощущала душевную силу мужа, как в эти минуты, когда он хотел ободрить несчастного Ивана. Она-то ведь знала, кто победитель и кто побежденный.

Действительно странно, но даже в тот час, когда зисовская машина повезла Николая на Внуковский аэродром для полета в Индию где он должен был представить премьеру Неру делегацию советских ученых, она не испытывала с такой глубиной своего жизненного торжества. Здесь оно было совсем особым — соединенным со слезами о погибшем сыне с жалостью, с любовью к седому человеку в грубой обуви.

— Ваня, — сказала она, — я ведь для вас приготовила целый гардероб, ведь вы с Колей одного роста.

Разговор о старых костюмах Мария Павловна затеяла не совсем вовремя, и Николай Андреевич сказал:

— Господи, да нужно ли говорить о таких пустяках. Конечно, Ваня, от всей души.

— Тут дело не в душе, — сказал Иван Григорьевич, — ты ведь раза в три обширнее меня.

Марию Павловну кольнул внимательный и как будто бы немного участливый взгляд Ивана. Видимо, то, что муж держался с особой скромностью, мешало Ване отделаться от старого снисходительного отношения к Николаю Андреевичу.

Иван Григорьевич выпил водки, и на лице его проступил темно-коричневый румянец.

Он спросил о старых знакомых.

Большинство его прежних друзей не встречались Николаю Андреевичу в течение десятилетий, многих уже не было в живых. Все, что связывало, — общие волнения, дела — ушло; разошлись дороги, отлетели сожаления и печаль, связанные с теми, кто ушел без права

переписки и без возврата. Вспоминать о них Николаю Андреевичу не хотелось, как не хочется приближаться к одинокому засохшему стволу, вокруг которого одна лишь пыльная мертвая земля.

Ему хотелось говорить о тех, которых Иван Григорьевич не знал, — с ними были связаны события его жизни. Рассказывая о них, он как бы приступал к главному: рассказу о себе.

Да, именно в эти минуты надо избавиться от интеллигентского червячка, от ощущения виновности, незаконности того чудесного, что произошло с ним. Не каяться захотелось ему, а утверждать.

И он стал рассказывать о людях, добродушно презиравших его, не понимавших и не ценивших его, — о людях, которым он сегодня готов всей душой помочь.

— Коленька, — вдруг проговорила Мария Павловна, — ты скажи об Ане Замковской.

И муж и жена сразу же ощутили волнение Ивана Григорьевича.

Николай Андреевич сказал:

— Она ведь писала тебе?

— Последнее письмо было восемнадцать лет назад.

— Да, да, она замужем. Муж ее физико-химик, в общем, по этим самым атомным делам. Живут в Ленинграде, представь, в той же квартире, где она когда-то жила у родных. Мы ее встречаем обычно на отдыхе, осенью... Раньше она всегда спрашивала о тебе, а после войны, по правде говоря, перестала.

Иван Григорьевич покашлял, сипло проговорил:

— А я думал, что она умерла: перестала писать.

— Да так о Мандельштаме, — сказал Николай Андреевич. — Ты помнишь старика Заозерского? Мандельштам был его любимым учеником. Заозерский рухнул в тридцать седьмом году, ездил человек за границу, широко, вольно встречался с эмигрантами и невозвращенцами, Ипатьевым, Чичибабиным... Да, так вот о Мандельштаме — он сразу пошел в гору, ну я уж рассказывал тебе финал, как его объявили космополитом и прочее... Все это чепуха, конечно, по правде говоря, с легкой руки Заозерского он действительно весь был в своих европейских и американских научных связях.

Николай Андреевич подумал, что рассказывает обо всем этом не ради себя, а ради Ивана, — ведь Иван живет отжившими детскими представлениями, надо же его ввести в сегодняшний день. И тут же

мелькнула мысль: «Господи, до чего же въелись в меня елей и лицемерие».

Он посмотрел на смирные, коричневый руки Ивана и начал объяснять:

— Ты, вероятно, неясно понимаешь эту терминологию — космополитизм, буржуазный национализм, значение пятого пункта в анкете. Космополитизм примерно соответствует участию в монархическом заговоре в эпоху первого конгресса Коминтерна. Хотя ведь ты видел в лагерях всех. Те, что приходили на смену снятым, тоже ведь снимались и становились твоими соседями по нарам. Но, думаю, теперь нам это не грозит — процесс замены завершен. Национальное из области формы в нашей жизни за эти десятилетия перешло в область содержания — грандиозно и просто. Но эту простоту не могут понять многие люди. Знаешь, если человека вышибают, он это не хочет воспринять как закономерность истории, а видит лишь нелепость, ошибку. Но факт остается фактом. Наши ученые, техники создали русские советские самолеты, русские урановые котлы и электронные машины, и этой суверенности должна соответствовать суверенность политическая — русское вошло в область содержания, в базис, в фундамент...

Он заговорил о том, как ненавидит черносотенцев. И одновременно он видит, что Мандельштам и Хавкин, люди, бесспорно, одаренные, способные, были ослеплены, им казалось, что все происходящее лишь юдофобство и ничего более. И также Пыжов, Радионов и другие не понимали, что тут дело не только в грубости и нетерпимости Лысенко, тут дело в национальной науке, которую эти новые люди утверждают.

На него смотрели внимательные глаза Ивана Григорьевича, и в душе Николая Андреевича шевельнулась тревога, такая, какая бывала в детстве, когда чувствуешь на себе грустный взгляд материнских глаз и неясно ощущаешь, что не так, как надо, не по-хорошему говоришь. Желая успокоить это неясное чувство, он рассуждал особенно веско, сердечно.

— Я прошел многие испытания, — печально и искренне сказал Николай Андреевич, — прошел в трудное, суровое время! Конечно, я не гудел, как герценовский колокол, не разоблачал Берию и сталинские ошибки; но бессмысленно даже говорить о подобном.

Иван Григорьевич опустил голову, и нельзя было понять, дремлет ли он, грезит о чем-то далеком или задумался над словами Николая Андреевича. Его руки дремали, его голова ушла в плечи. Вот так же сидел он вчера в поезде, слушая своих попутчиков.

Николай Андреевич сказал:

— Было мне худо и при Ягоде, и при Ежове, а теперь, когда нет Бери и Абакумова, и Рюмина, и Меркулова, и Кобулова, — я встал по-настоящему на ноги. Я прежде всего сплю спокойно, не жду ночных гостей. Да и не я один. И невольно думаешь — не зря мы все же мы перенесли жестокое время. Родилась новая жизнь, и мы все посильные участники ее.

— Коля, Коля, — негромко сказал Иван Григорьевич.

Слова эти рассердили Марию Павловну. Она вместе с мужем заметила сострадательное и мрачное выражение лица гостя.

Она с упреком сказала мужу:

— Почему ты боишься сказать, что Мандельштам и Пыжов самовлюбленные люди? И нечего охать, что жизнь поставила их на место. Поставила — и слава богу.

Она упрекала мужа, но упрек ее был обращен к гостю. И, тревожась о своих резких словах, она сказала:

— Я сейчас приготовлю постель. Ваня очень устал, а мы не подумали об этом.

А Иван Григорьевич, уже зная, что не облегчение, а новую тяжесть принес ему приход к брату, хмуро спросил:

— Скажи-ка, ты-то подписал письмо, осуждающее врачей-убийц? Я об этом письме слышал в лагере от тех, кого все же успели сменить.

— Милый, чудак ты наш... — сказал Николай Андреевич и запнулся, замолчал.

Внутри у него все похолодело от тоски, и одновременно он чувствовал, что вспотел, покраснел, щеки его горели.

Но он не упал на колени, он сказал:

— Дружочек ты мой, дружочек ты мой, ведь и нам нелегко жилось, не только вам там, в лагерях.

— Да боже избави, — поспешно сказал Иван Григорьевич, — я не судья тебе да и всем. Какой уж судья, что ты, что ты... Наоборот даже...

— Нет, нет, я не об этом, — сказал Николай Андреевич, — я о том, как важно в противоречиях, в дыму, пыли, не быть слепым, видеть, видеть огромность дороги, ведь, став слепым, можно с ума сойти.

Иван Григорьевич виновато произнес:

— Да, понимаешь, беда моя, я, видно, путаю, зрение за слепоту принимаю.

— Где же мы Ваню положим, — спросила Мария Павловна, — где удобней ему будет?

Иван Григорьевич сказал:

— Нет, нет, спасибо, я не смогу у вас ночевать.

— Почему же? Где же еще? Маша, давай свяжем его! Иван Григорьевич проговорил:

— Не надо меня связывать.

Николай Андреевич замолчал, нахмурился.

— Да вы простите, но совсем не то, вот не могу просто, совсем подругому, — сказал Иван Григорьевич.

— Вот что, Ваня... — сказал Николай Андреевич и замолчал.

Когда Иван Григорьевич ушел, Мария Павловна оглядела стол, заставленный закусками, отодвинутые стулья.

— Приняли мы его по-царски, — сказала она. — Несмеяновых мы не лучше принимали.

И, правда, Мария Павловна, это изредка случается с людьми скупыми, на этот раз с широтой, превосходящей щедрость размашистых натур, приготовила богатый обед.

Николай Андреевич подошел к столу.

— Да, если человек безумен, то это на всю жизнь, — сказал он. Она приложила ладони к его вискам и, целуя его в лоб, проговорила:

— Не огорчайся, не надо, неисправимый мой идеалист.

Иван Григорьевич проснулся на рассвете, лежа на полке бесплацкартного вагона, и прислушался к шуму колес, приоткрыл глаза, стал всматриваться в предутренний сумрак, стоявший за окном...

Несколько раз за двадцать девять лет заключения он видел во сне свое детство. Однажды ему приснилась маленькая бухта, — в спокойной воде, по мелким камешкам, устилавшим дно, боком пробежали подводной бесшумной походкой несколько крабиков и скрылись в водорослях... Он медленно ступал по округлым камням, ощущая ступней нежный подводный лен, и ртутной струйкой брызнули, рассыпались десятки удлинённых капелек — мальков скумбрии, ставридки... Солнце осветило зеленые подводные лужи, ельнички: казалось, не соленой водой, соленым светом была заполнена милая бухточка...

Этот сон приснился ему в эшелонной теплушке, и, хотя с той поры прошла четверть века, он помнил горе, охватившее его, когда увидел серый зимний свет и серые лица заключенных, услышал за стеной вагона скрип сапог по снегу, гулкое постукивание молотков охраны по днищу вагона.

Иногда он представлял себе дом, стоявший над морем, ветви старой черешни над крышей, колодец...

Он доводил свою память до мучительной остроты, и ему вспоминались блеск толстого листа магнолии, плоский камень посреди ручья. Он вспоминал тишину и прохладу комнат, обмазанных белой крейдой, рисунок скатерти. Он вспоминал, как читал, взобравшись с ногами на диван — клеенка, покрывавшая диван, приятно холодила в жаркие летние дни. Иногда он пытался вспомнить лицо матери, и сердце его томилось, и он хмурился, и на зажмуренных глазах выступали слезы, как бывало в детстве. когда пытаешься посмотреть на солнце.

Горы он вспоминал подробно и легко, точно листал знакомую книгу, — она сама открывается на нужной странице.

Продравшись среди кустов ежевики и кривушек карагачей, скользя по каменистой желто-серой, потрескавшейся земле, он

добирался до перевала и, оглянувшись на море, входил в прохладную полутьму леса... Мощные дубы легко поднимали на своих толстых ветвях к самому небу холмы резной листвы, важная тишина стояла вокруг.

В середине прошлого века прибрежные места были населены черкесами.

Старичок грек, отец огородника Мефодия, мальчиком видел многолюдные черкесские аулы, сады.

После завоевания побережья русскими черкесы ушли, и жизнь в прибрежных горах заглохла. Среди дубов кое-где росли сторбившиеся, вернувшиеся в лес сливовые деревья, груши и черешни, а персиков и абрикосов уже не было, — их короткий век прошел.

В лесу лежали закопченные хмурые камни, остатки разрушенных очагов, а на заброшенных кладбищах темнели могильные плиты, на половину своего роста погруженные в землю.

Все неживое — камни, железо — с годами всасывалось землей, растворялось в ней, а зеленая жизнь, наоборот, рвалась из земли. Томящей казалась мальчику тишина над холодными очагами. Как-то особенно мило, возвращаясь к дому, ощущал он запах кухонного дыма, лай собак, кудахтанье кур.

Однажды он подошел к матери, сидевшей с книжкой у стола, и обнял ее, прижался головой к ее коленям.

— Ты нездоров? — спросила она.

— Нет, я здоров, я так рад, — бормотал он, целуя платье матери, ее руки, и расплакался.

Он не мог объяснить маме свое чувство, — ему казалось, в лесном сумраке кто-то жалуется, ищет исчезнувших людей, заглядывает за деревья, прислушивается к голосам черкесских пастухов, плачу младенцев, потягивает носом — не пахнет ли дымком, горячими лепешками...

И почему-то не только радостно, но и стыдно было ему ощущать прелесть родного дома, вернувшись из леса...

Из его объяснений, казалось ему, мать ничего не поняла, она проговорила:

— Глупый ты мой, как тебе будет трудно жить с таким чувствительным, ранимым сердцем...

За ужином отец переглянулся с матерью, сказал:

— Ваня, ты, вероятно, знаешь, что раньше наше Сочи называлось Пост Даховский, а поселки в горах именовались — Первая Рота, Вторая Рота...

— Знаю, — сказал он и капризно засопел.

— Это стоянки русских войск, они шли не только с ружьями, но и с топорами, лопатами, прорубали дорогу сквозь заросли, где жили дикие, жестокие горцы.

Отец почесал себе бороду и добавил;

— Прости за высокопарность — прорубали дорогу для России, вот и мы здесь поселились... Я вот способствовал устройству школ, а, скажем, Яков Яковлевич насаждал виноградники, сады, а другие строили тут больницы, прокладывали шоссе. Прогресс требует жертв, а о неминуемом плакать нечего. Ты понял, к чему я?

— Понял, — ответил Ваня, — но сады тут были и до нас, они теперь одичали.

— Да, да, друг мой, — сказал отец, — когда лес рубят, щепки летят. И, кстати, черкесов не гнали отсюда, они сами ушли в Турцию. Они могли остаться и приобщиться к русской культуре. А в Турции они бедствовали и многие из них погибли...

Прожитое вспоминалось ему, — ему снилась родная земля, слышались знакомые голоса, и дворовая собака с глазами, красными от старческих слез, поднималась к нему навстречу.

Он просыпался под гул таежного океана, над которым катила зимняя вьюга.

И вот теперь шли дни его вольной жизни, и он все ждал возвращения чего-то хорошего, молодого.

В это утро он проснулся в поезде с чувством безысходного одиночества. Вчерашняя встреча с двоюродным братом наполнила его горечью, а Москва оглушила и подавила его. Громады высотных зданий, потоки машин, светофоры, толпы, идущие по тротуарам, все это было чужим, странным. Город казался ему огромным дрессированным механизмом, — то замиравшим по красному сигналу, то вновьдвигающимся по зеленому... Россия много видела великого за тысячу лет своей истории. А за советские годы страна увидела и всемирные военные победы, и огромные стройки, и новые города, и плотины, преграждающие течение Днепра и Волги, и каналы,

соединяющие моря, и мощь тракторов, и небоскребы... Лишь одного не видела Россия за тысячу лет — свободы.

Он поехал троллейбусом на московский Юго-Запад. Там, среди деревенской грязи, непросохших сельских прудов, выросли огромные восьми— и десятиэтажные корпуса. Деревенские избы, огородики, сараюшки доживали свой век, сжатые огромным наступлением камня и асфальта.

В хаосе, среди рева пятитонок, угадывались будущие улицы новой Москвы. Иван Григорьевич бродил в возникающем городе, где не было еще мостовых и тротуаров, где люди добирались к своим домам по тропинкам, юлящим среди груд мусора. Повсюду на домах имелись одни и те же вывески: «Мясо» и «Парикмахерская». В сумерках вертикальные вывески «Мясо» горели красным огнем, вывески «Парикмахерская» светились пронзительной зеленью.

Эти вывески, возникшие вместе с первыми жильцами, как бы раскрывали плотядную суть человека.

Мясо, мясо, мясо... Человек жрал мясо. Без мяса человек не мог. Здесь не было еще библиотек, театров, кино, пошивочных, не было даже больниц, аптек, школ, но сразу, тотчас же, среди камня красным огнем светилось: мясо, мясо, мясо...

И тут же изумруд парикмахерских вывесок. Человек ел мясо и обрастал шерстью.

Ночью он пришел на вокзал и узнал, что в два часа отходит последний поезд на Ленинград, купил билет, взял вещи из камеры хранения.

Он удивился чувству покоя, когда очутился в холодном, пустом вагоне.

Поезд шел по московским предместьям, мелькали в окне темные осенние рощицы и поляны, и Ивану Григорьевичу стало легче оттого, что он ускользает из московской электрической, каменной и автомобильной громады и не слушает рассказа двоюродного брата о разумном ходе истории, расчистившей место для Николая Андреевича.

На полированной скамейке, как на воде, блеснул блик фонаря проводницы.

— Папаша, билет есть?

— Есть, я предъявлял.

Годами думал он о часе, когда, выйдя на свободу, встретится с двоюродным братом, единственным в мире человеком, знавшим его детство, его мать и отца. Но он не удивился покою и легкости в вагоне ночного поезда.

Утром он проснулся с таким полным ощущением одиночества, какого, казалось ему, не может пережить дышащее земным воздухом существо.

Он ехал в город, где прошли его студенческие годы, где жила его любовь. Когда много лет назад она перестала писать ему, он оплакивал ее, — он не сомневался, что только смерть могла прервать их переписку. Но она жила, она была жива...

Иван Григорьевич провел в Ленинграде три дня. Он дважды подходил к университету, ездил на Охту, в Политехнический, разыскивал улицы, где жили его знакомые, и не находил этих улиц, домов, разрушенных во время блокады, а иногда находил и улицы, и дома, но на черных досках, висевших в подворотнях, не было знакомых фамилий.

Идя знакомыми местами, он иногда был спокоен, рассеян, окруженный тюремными лицами, лагерными разговорами, а иногда, пронзенный юношескими воспоминаниями, стоял перед знакомым домом, на знакомом перекрестке. Он был в Эрмитаже и ушел из него со скукой и холодом. Неужели картины были так хороши все те годы, пока он превращался в лагерного старика? Почему не менялись они, почему не постарели лица дивных мадонн, не ослепли от слез их глаза? Может быть, в вечности и неизменности не могущество их, а слабость? Может быть, в этом измена искусства человеку, породившему его?

Однажды сила внезапного воспоминания была особенно пронзительна. А воспоминание казалось случайным и незначительным: как-то он помог пожилой хромо́й женщине внести корзину на четвертый этаж и, сбегав вниз по темной лестнице, вдруг ахнул от счастья, — весна, лужи, мартовское солнце. Он подошел к дому, где жила Аня Замковская, и ему казалось невыносимым вновь увидеть высокие окна и гранитную облицовку стен, белеющий в полутьме мрамор ступеней, металлическую сетку вокруг лифта. Сколько раз вспоминал он этот дом. Он провожал Аню после ночных прогулок, стоял и ждал, пока в ее окне зажжется свет. Она говорила ему: «Если ты слепым обрубком вернешься с войны, я буду счастлива в своей любви».

Иван Григорьевич увидел цветы на полуоткрытом окне. Он постоял у подъезда и пошел дальше. Сердце его билось ровно — там, за проволокой, женщина, казавшаяся ему умершей, была ближе его душе, чем сегодня, когда он стоял под ее окном.

Он узнавал и не узнавал город, многое казалось таким неизменным, словно несколько часов назад Иван Григорьевич

проходил этими улицами, а многое возникло вновь — дома и улицы, а многое исчезло, а вместо исчезнувшего не появилось ничего.

Но Иван Григорьевич не понимал, что не только город изменился, изменился и сам Иван Григорьевич, его интерес, его ищущий взгляд стал иным.

Он теперь видел в городе то, чего раньше не видел; он словно переселился с одного этажа жизни на другой. Перед ним теперь открылись барахолки, отделения милиции, паспортные столы, забегаловки, отделы найма, объявления о вербовке рабочей силы, больницы, комнаты для транзитных пассажиров... А мир театральных афиш, филармоний, букинистических магазинов, стадионов, университетских аудиторий, читальных и выставочных залов исчез для него, ушел в четвертое измерение.

Ведь для хронического больного существуют в городе одни лишь аптеки да больницы, диспансеры да ВТЭКи. А для выпивающего город построен из полулитра на троих. А для влюбленного город состоит из стрелок городских часов, определяющих сроки свиданий, скамеек на бульварах, двухкопеечных монет для телефона-автомата.

Когда-то на этих улицах всюду были знакомые лица, окна товарищей светились по вечерам. А ныне с тюремной койки ему улыбались знакомые глаза и бледные губы шепотом говорили:

— Иван Григорьевич, привет!

Здесь, в этом городе, он когда-то знал в лицо продавцов книжных и продуктовых магазинов, и газетчиков в киосках, и папиросниц.

На Воркуте к нему подошел вертух-надзиратель и сказал:

— А я тебя знаю, ты был на пересылке в Омске.

Сегодня в многотысячной ленинградской толпе он не видел знакомых и не было у него знакомства с незнакомыми. В широком общем облике лиц произошло большое изменение.

Видимые и невидимые связи исчезли, порвались — их рвало время, массовые высылки после убийства Кирова, их рвали бури, их засыпало снегом и пылью Казахстана, блокадным мором, и их не стало — он шел один, чужой...

Движение миллионов масс привело к тому, что светлоглазые и скуластые районные люди заполнили улицы Ленинграда а в лагерных бараках то и дело встречались Ивану Григорьевичу картавые печальные петербуржцы.

Невский и деревянная бревенчатая районная житуха пошли навстречу друг другу, смешались не только в автобусах и квартирах, но и на страницах книг и журналов, в конференц-залах научных институтов.

Дух лагерной казармы ощутил Иван Григорьевич, глядя в окна ленинградской милиции, слушая за роскошным столом речи своего двоюродного брата, рассматривая вывеску паспортного отдела... Ему мерещилось, что колючая проволока уже не нужна и запроволочная жизнь уравнена в сокровенной сути своей с лагерным баракком.

Хаотически бурлил, булькал, кряхтел огромный котел, охваченный пламенем, дымом, паром, и каждому из многих казалось, что именно он понимает закон кипения большого котла, знает, как заварили кашу и кому ее есть.

Вновь стоял Иван Григорьевич в своих солдатских ботинках перед божественно босым, увенчанным венком всадником. Тридцать лет назад юношей он проходил здесь, и полон мощи был бронзовый Петр. Вот, наконец, и встретил Иван Григорьевич знакомого.

Казалось, ни тридцать лет назад и ни сто тридцать лет назад, когда Пушкин привел на эту площадь своего героя, не был дивный Петр так велик, как сегодня. Уж не было в мире силы огромней, чем та, которую он вобрал в себя и выразил, — величественной силы дивного государства. Она росла, поднималась, царила над полями, над фабриками, над письменными столами поэтов и ученых, над стройками каналов и плотин, над каменоломнями, над лесозаводами и лесосеками, в своем могуществе способная овладеть и громадой пространств, и сокровенными глубинами сердца зачарованного человека, несущего ей в дар свою свободу, само желание свободы.

— Санкт-Петербург, санпропускник, Санкт-Петербург, санпропускник, — повторял Иван Григорьевич.

Эти два слова нелепо сошлись, выражая связь между великим всадником и лагерным оборванцем.

Ночевал Иван Григорьевич на вокзале, в комнате для транзитных пассажиров. Он тратил в день не больше полутора — двух рублей и не торопился уезжать из Ленинграда.

На третий день он столкнулся со знакомым человеком, которого часто вспоминал во время своей лагерной жизни.

Они сразу узнали друг друга, хотя нынешний Иван Григорьевич ничем не походил на университетского, третьекурсника, а встретившийся ему Виталий Антонович Пинегин в сером плаще и фетровой шляпе не был схож с молодым человеком в заношенном студенческом кительке.

Увидев лицо остолбеневшего Пинегина, Иван Григорьевич проговорил:

— Ты, видно, меня числил в мертвецах? Пинегин развел руками.

— Да уж лет десять назад говорили, что будто ты того...

Он смотрел живыми и умными глазами в самую глубину взора Ивана Григорьевича.

— Ты не беспокойся, — сказал Иван Григорьевич, — я не с того света и не беглый, что еще гаже. Я, как ты, с паспортом и прочим.

Слова эти возмутили Пинегина.

— Встречая старого товарища, я не интересуюсь его паспортом.

Он достиг высоких степеней, но остался в душе славным малым.

О чем бы ни говорил он, о своих сыновьях, о том, «как ты здорово переменялся, а я все же сразу тебя узнал», глаза его зачарованно и жадно следили за Иваном Григорьевичем.

— Да вот, в общих словах... — проговорил Пинегин. — Что же тебе еще рассказать?

«А ты бы лучше рассказал...» — и на мгновение Пинегин замер, но Иван Григорьевич, конечно, ничего такого не сказал.

— А о тебе я ведь ничего не знаю, — проговорил Пинегин.

И снова ожидание, не ответит ли Иван Григорьевич:

«Ты ведь сам, когда надо было, умел обо мне рассказывать, что уж мне о себе рассказывать».

Но Иван Григорьевич помолчал и махнул рукой.

И Пинегин вдруг понял: ничего Ванька не знает и знать не мог. Нервы, нервы... И надо же было именно сегодня послать машину на техосмотр. Как-то недавно он вспомнил об Иване и подумал, — вдруг кто-либо из родственников добьется его посмертной реабилитации. Перевод из мертвых душ в живые! И вот среди бела дня Иван, Ванечка. И тридцать лет отбыл, и в кармане, наверное, бумага: «За отсутствием состава преступления».

Он снова посмотрел в глаза Ивану Григорьевичу и окончательно понял, что тот ничего не знал. Ему стало стыдно за свои сердечные

перебои за холодный пот, ведь вот, вот, готов был занюнить, заголосить.

И чувство уверенности, что Иван не плюнет ему в лицо, не спросит с него, наполнило Пинегина светом. С какой-то не совсем ясной ему самому благодарностью он проговорил:

— Слушай, Иван, по-простому, по-рабочему, мой батька ведь кузнецом был, — может быть, тебе деньги нужны? Уж, поверь, по-товарищески, от всей души.

Иван Григорьевич без упрёка, с живым и печальным любопытством посмотрел в глаза Пинегину, и Пинегину на одну секунду, только на одну секунду, даже не на две, показалось: и ордена, и дачу, и власть, и силу, и красавицу жену, и удачных сыновей, изучающих ядро атома, — все, все можно отдать, лишь бы не чувствовать на себе этого взгляда.

— Что ж, будь здоров, Пинегин, — сказал Иван Григорьевич и пошел в сторону вокзала.

Кто виноват, кто ответит...

Надо подумать, не надо спешить с ответом.

Вот они — фальшивые инженерские и литературные экспертизы, речи, разоблачающие врагов народа, вот они — задушевные разговоры и дружеские признания, переложенные в донесения и рапорты сексотов-стукачей, информаторов.

Доносы предшествовали ордеру на арест, сопутствовали следствию, отражались в приговоре. Эти мегатонны доносной лжи, казалось, определяли имена людей в списках раскулаченных, лишаемых голоса, паспорта, ссылаемых, расстреливаемых.

На одном конце цепи два человека беседовали за столом и отхлебывали чай, затем при свете лампы под уютным абажуром писалось интеллигентное признание либо на колхозном собрании попростому говорил речь активист; а на другом конце цепи были безумные глаза, отбитые почки, расколотый пулей череп, цинготные мертвецы в лагерном бревенчато-земляном морге, отмороженные в тайге гнойные и гангренозные пальцы на ногах.

Вначале было слово... Воистину так.

Как быть с погубителями — доносчиками?

Вот вернулся после двенадцатилетнего лагеря человек с трясущимися руками, с запавшими глазами мученика: Иуда-первый. И среди друзей его прошел шепоток — говорят, он в свое время плохо вел себя на допросах. Некоторые с ним перестали раскланиваться. Те, кто поумней, при встречах с ним вежливы, но в дом к себе не зовут. Те, что еще умней, шире, глубже, и в дом к себе зовут, но в душу не пускают, закрыли ее перед ним.

Все они с дачами, со сберкнижками, с орденами, машинами. Конечно, он худой, а они толстые, но они действительно не вели себя плохо на допросах. Собственно, они и не могли подличать на допросах — их не допрашивали. Им повезло: их не арестовывали. В чем же действительно, истинное, душевное превосходство этих толстых перед этим худым? Ведь и он мог быть толстым, и они могли быть худыми. Случай или закон определил их судьбу?

Он был обыкновенным человеком. Он пил чай, ел яичницу, любил беседовать с друзьями о прочитанных книгах, ходил во МХАТ, иногда проявлял доброту. Был он, правда, очень впечатлителен, нервен, не было в нем самоуверенности.

А на человека крепко нажали. На него не только кричали, его и били, и спать не давали, и пить не давали, а кормили селедочкой и страшали смертной казнью. И все же, что ни говори, он совершил страшное дело — оклеветал невинного. Правда, тот, оклеветанный, посажен не был, а он, которого принудили клеветать, отбыл безвинно 12 лет лагерной каторги, вернулся чуть живым, сломленным, нищим, доходягой. Но ведь оклеветал!

Не будем спешить, подумаем всерьез об этом доносчике.

Но вот Иуда-второй. Этот и дня не провел в заключении. Он слыл умницей и златоустом, и вот вернувшиеся из лагеря чуть живые люди рассказали, что он сексот. Он способствовал гибели многих людей. Он годами вел задушевные разговоры со своими друзьями, а затем составлял письменные заметы и сдавал их по начальству. Из него пыткой показаний не выколачивали, он сам проявлял находчивость, незаметно подводил собеседников к опасным темам. Двое оклеветанных им не вернулись из лагеря, один был расстрелян по приговору военной коллегии. Те, что вернулись, привезли список болезней, по каждой из которых жестокий ВТЭК дает инвалидность первой группы.

А он-то нажил брюшко, славился как гастроном и знаток грузинских вин. И работал он в области изящного, был, между прочим, собирателем уникальных изданий старинной поэзии.

Но не будем спешить, подумаем, прежде чем выносить приговор. Он ведь с детских лет без памяти испугался, — отец его, богатый человек, умер в 1919 году в концлагере от сыпного тифа, тетка эмигрировала с мужем генералом в Париж, старший брат воевал на стороне добровольцев. С детства в нем жил ужас. Мать до дрожи боялась милиции, управдома, старшего по квартире, делопроизводителей из горсовета. Каждый день и каждый час он и родня его чувствовали свою классовую ограниченность и классовую порочность. Учась в школе, он трепетал перед секретарем ячейки; миловидная пионервожатая Галя, казалось, смотрела на него с

гадливостью, как на неприкасаемого червя. Его ужасало, что она заметит его влюбленный взгляд.

И кое-что становится понятным. Его зачаровала сила нового мира, он, словно пташка, всматривался славными своими глазенками в сияющие очи всесветной нови. Ему так хотелось приобщиться, сподобиться. Вот новь и приобщила его к себе. Воробушек и не пикнул, не трепыхнул крылышками, когда грозному миру понадобились ум его и присущий ему шарм. Он все принес на алтарь отечества.

Все это верно, конечно. Но ведь подлец, какой оказался подлец! И ведь, стуча, себя не забывал — сладко ел, нежился. И все же очень уж он был незащищенный, такому с нянечкой, с женушкой. Ну где ему было справиться с силищей, которая полмира согнула, всю империю вывернула наизнанку. А он со своей трепетной тонкостью был как кружевцо, чуть к нему не так прикоснешься — он весь терялся, в глазах жалобное выражение.

И вот, оказалось, смертельная болотная гадючка подкатывалась колышком, и много муки от нее досталось людям.

И ведь губил таких же, как сам, — многодавних своих друзей, милых, скрытных, умных, робких. Он один имел к ним ключик. Он ведь все понимал — плакал, читая чеховского «Архиерея».

И все же подождем, подумаем, не подумавши, не станем казнить его.

А вот и новый товарищ — Иуда-третий. У него отрывистый голос, с хрипотцой, боцманский. Взгляд испытующий, спокойный. В нем уверенность хозяина жизни. То бросят его на идеологическую работу, то в плодоовощ. Анкетные данные его снежной белизны, сами светятся. Родня — станковые рабочие и беднейшее столбовое крестьянство.

В 1937 году человек этот с лета, с маху написал больше двухсот доносов. Многообразен его кровавый список. Комиссары времен гражданской войны, поэт-песенник, директор чугунолитейного завода, два секретаря райкома, старый беспартийный инженер, три редактора — один газетный, два издательских, заведующий закрытой столовой, преподаватель философии, зав. парткабинетом, профессор ботаники, слесарь из домоуправления, два сотрудника облземотдела... Всех не перечислишь.

Все его доносы сочинены на советских людей, а не на бывших, жертвы его — члены партии, участники гражданской войны, активисты. Он особо специализировался на партийцах фанатичного склада — резво сек их смертельной бритвой по глазам.

Мало кто вернулся из двухсот — одни расстреляны, другие накрылись деревянбушлатом, погибли от дистрофии, расстреляны при лагерных чистках; вернувшиеся, душевно и физически искалеченные, кое-как дотягивают свое вольное существование.

А для него 1937 год стал порой виктории. Он ведь был не шибко грамотным, востроглазым парнюгой, все вокруг оказались сильнее его и по образованности, и по героическому прошлому. Ни очка не причиталось ему с тех, кто затеял и совершил революцию. Но с какой-то фантастической легкостью от одного его прикосновения валялись десятки людей, овеванных революционной славой.

С тридцать седьмого года он и пошел круто вверх. В нем-то и оказалась благодать, драгоценнейшая суть нови.

Вот с ним уж, кажется, все ясно — на костях, на страшных муках, стало быть, этот депутат и член бюро.

Но нет, нет, не следует спешить, надо разобраться, подумать, прежде чем произносить приговор. Ибо не ведал и он, что творил.

Старшие наставники именем партии однажды сказали ему:

«Беда! Мы окружены врагами! Они прикидываются испытанными партийцами, подпольщиками, участниками гражданской войны, но они враги народа, резиденты разведок, провокаторы...» Партия говорила ему: «Ты молод и чист, я верю тебе, парнишка, помоги мне, иначе погибну, помоги мне одолеть эту нечисть...»

Партия кричала на него, топала на него сталинскими сапогами: "Если ты проявишь нерешительность, то поставишь себя в один ряд с выродками, и я сотру тебя в порошок! Помни, сукин сын, ту черную избу, в которой ты родился, а я веду тебя к свету; чти послушание, великий Сталин, отец твой, приказывает тебе: «Ату их».

Нет, нет, он не сводил личных счетов... Он, сельский комсомолец, не верил в бога.

Но в нем жила другая вера — вера в беспощадность карающей руки великого Сталина. В нем жило безоглядное послушание верующего. В нем жила благодатная робость перед могучей силой, ее

гениальными вождями Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным. Он, солдатик великого Сталина, поступал по велению его.

Но, конечно, в нем жила и биологическая неприязнь, инстинктивная, подспудная гадливость к людям интеллигентного, фанатичного революционного поколения, на которых его натравливали.

Он выполнял свой долг, он не сводил счетов, но он писал доносы и из чувства самосохранения. Он зарабатывал капитал, более драгоценный, чем золото и земельные угодья, — доверие партии. Он знал, что в советской жизни доверие партии — это все: сила, почести, власть. И он верил, что его неправда служит высшей правде, он прозревал в доносе истину.

Да можно ли винить его, когда и не такие головы не смогли разобраться — в чем же ложь, а в чем правда, когда и чистые сердца в бессилии недоумевали, что есть добро, а что есть зло.

Он ведь верил, точнее — хотел верить, точнее — не мог не верить.

Чем-то это темное дело было ему неприятно, но ведь долг! Да и чем-то нравилось страшное дело ему, пьянило, затягивало. «Помни, — говорили ему наставники, — нет у тебя ни отца, ни матери, ни братьев и сестер, есть у тебя лишь партия».

И силилось странное, томящее чувство: в своем бездумье, в своем послушании он обретал не бессилие, а грозную мощь.

А в недобрых, генеральских глазах его, в его властном, отрывистом голосе нет-нет да мелькали тени совсем иной, тайно жившей в нем натуры — ошарашенной, обалделой, вскормленной и вспоенной веками русского рабства, азиатского бесправия...

Да-да, и здесь придется подумать. Ведь страшно казнить и страшного человека.

Но вот новый товарищ — Иуда-четвертый.

Он жилец коммунальных квартир, он мелко-средний служащий, он колхозный активист. Но кем бы он ни был, лицо его всегда одно: молод ли он, стар, безобразен, либо он статный и румяный русский богатырь — его тотчас можно узнать. Он мещанин, жадный до предметов, накопитель-фанатик материального интереса. Его фанатизм в добывании дивана-кровати, крупы гречки, серванта польского, стройматериалов дефицитных, мануфактуры импортной по силе своей равен фанатизму Джордано Бруно и Андрея Желябова.

Он создатель категорического императива, противоположного кантовскому, — человек, человечество всегда выступает для него в качестве средства при его охоте за предметами. В глазах его, светлых и темных, постоянно напряженное, обиженное и раздраженное выражение. Всегда ему кто-то наступил на ногу, и ему неизменно нужно с кем-то посчитаться.

Страсть государства к разоблачению врагов народа благодатна для него. Она словно широкий пассат, дующий над океаном. Его маленький желтый парус наполнен широким попутным ветром. И ценой страданий, выпадающих тем, кого он губит, он добывает нужное ему: дополнительную жилую площадь, повышение оклада, соседскую избу, польский гарнитур, утепленный гараж для своего «Москвича», садик...

Он презирает книги, музыку, красоту природы, любовь, материнскую нежность. Только предметы, одни лишь предметы.

Но и им не всегда руководят лишь материальные соображения. Он легко оскорбляется, его жгут душевные обиды.

Он пишет донос на сослуживца, танцевавшего с его супругой и вызвавшего в нем ревность, на высмеявшего его за столом остроумца и даже на случайно толкнувшего его в кухне соседа по квартире.

Две особенности отличают его: он доброволец, волонтер, его не пугали, не заставляли, он сам по себе доносит, стращать его не надо. Второе: он видит в доносе свою прямую, ясную выгоду.

И все же задержим поднятый для удара кулак!

Ведь его страсть к предметам рождена его нищетой. О, он может рассказать о комнате в восемь квадратных метров, где спят одиннадцать человек, где похрапывает паралитик, а рядом шуршат и стонут молодожены, бормочет молитву старуха, заходится плачем описавшийся младенец.

Он может рассказать о деревенском зелено-коричневом хлебе с толченым листом, о едином трехразовом московском супе из уцененной, промерзшей картошки.

Он может рассказать о доме, где нет ни одного красивого предмета, о стульях с фанерками вместо сидений, о стаканах из мутного толстого стекла, об оловянных ложках и двузубых вилках, о латаном и перелатанном белье, о грязном резиновом плаще, под который в декабре надевают рваную стеганку.

Он расскажет об ожидании автобуса в утреннем зимнем мраке, о немислимой трамвайной давке после страшной домашней тесноты...

Не звериная ли его жизнь породила в нем звериную страсть к предметам, к просторной берлоге? Не от звериной ли жизни озверел он?

Да, да, все это так. Но замечено, что ему-то жилось не хуже, чем другим, что хоть и плохо жилось ему, но лучше, чем многим и многим.

А вот эти многие и многие не сотворили того, что сотворил он. Подумаем, не торопясь, потом уж приговор.

— -

ОБВИНИТЕЛЬ. Вы подтверждаете, что писали доносы на советских граждан?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ. Да в некотором роде.

ОБВИНИТЕЛЬ. Вы признаете себя виновными в гибели невинных советских людей?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ. Нет. Категорически отрицаем. Государство заранее обрекло этих людей гибели, мы работали, так сказать, для внешнего обрамления. По существу, что бы мы не писали, как бы мы не писали, обвиняли или оправдывали, люди эти были обречены государством.

ОБВИНИТЕЛЬ. Но ведь иногда вы писали по своему свободному выбору. В таких случаях вы сами намечали жертву.

ДОНОСЧИКИ И СЕКСОТЫ. Эта наша свобода выбора кажущаяся. Люди уничтожались методом статистическим, — к истреблению готовились люди, принадлежащие к определенным социальным и идейным слоям. Мы знали эти параметры, ведь вы их тоже знали. Мы никогда не стучали на людей, принадлежащих к здоровому слою, не подлежащему уничтожению.

ОБВИНИТЕЛЬ. Так сказать, по-евангельски: падающего толкни. Однако же были случаи, даже в то суровое время, когда государство оправдывало оклеветанных вами.

ЗАЩИТНИК. Да, такие случаи действительно были — они следствие ошибки. Но ведь только бог не ошибается. Да и вспомните как редки были случаи оправдания, значит, и редки были ошибки.

ОБВИНИТЕЛЬ. Да, доносчики и сексоты знали свое дело. Но все же ответьте мне, для чего вы стучали?

ДОНОСЧИКИ И СЕКСОТЫ (хором). Меня заставили... били... А меня загипнотизировал страх, мощь беспредельного насилия... Что касается меня, я выполнял свой партийный долг, как его в ту пору понимал.

ОБВИНИТЕЛЬ. А вы, четвертый товарищ, почему молчите?

ИУДА-ЧЕТВЕРТЫЙ. Я-то что, зачем вы ко мне придираетесь. Я человек темный, меня легче, чем образованных, сознательных обидеть.

ЗАЩИТНИК (перебивая). Разрешите, я поясню. Мой клиент действительно доносил, преследуя личные цели. Однако учтите, в данном случае личный интерес не противоречит государственному. Государство не отклоняло доносов моего подзащитного, следовательно, он выполнял государственно полезное дело, хотя при первом, поверхностном взгляде может показаться, что он действовал лишь из эгоистических, личных побуждений. Теперь же вот что. В сталинские времена вас, обвинитель, самого обвинили бы в недооценке роли государства. Знаете ли вы, что силовые поля, созданные нашим государством, тяжелая, в триллионы тонн, масса его, сверхужас и сверхпокорность, которые оно вызывает в человеческой пушинке, таковы, что делают бессмысленными любые обвинения, направленные против слабого, незащищенного человека. Смешно винить пушинку в том, что она падала на землю.

ОБВИНИТЕЛЬ. Ваш взгляд мне ясен: вы не склонны, чтобы ваши подзащитные приняли на себя хотя бы самую малую долю вины. Только государство. Но скажите, сексоты и доносчики, неужели вы не признаете себя хотя бы в какой-либо мере виновными?

СЕКСОТЫ И ДОНОСЧИКИ (переглядываются, шепчутся, затем слово берет ученый сексот). Разрешите ответить. Ваш вопрос при внешней своей простоте не так уж прост. Прежде всего он лишен смысла, но это как раз не имеет значения. Действительно, к чему ныне искать виновных за преступления, совершенные в сталинскую эпоху? Это все равно, что, переселившись с Земли на Луну, возбудить тяжбу о земных приусадебных участках. С другой стороны, если считать, что эпохи не так уж далеки друг от друга и, как сказал поэт, в веках стоят почти что рядом, — возникает немало иных сложностей. Почему вам обязательно хочется обличить именно нас, слабеньких? Начните с государства, судите его. Ведь наш грех — это его грех, судите же его,

бесстрашно, вслух. Вам иначе нельзя, как бесстрашно, вы ведь выступаете во имя правды. Ну, давайте же, действуйте.

Затем ответьте, пожалуйста, почему вы спохватились именно теперь? Всех нас вы знали при жизни Сталина. Отлично с нами встречались, ждали приема у дверей наших кабинетов, иногда что-то там воробьиными голосами шептали по нашему поводу. Так и мы ведь шептали воробьиным шепотом. Вы, как и мы, соучастники сталинской эпохи. Почему же вы, соучастники, должны судить нас, соучастников, определять нашу вину? Понимаете, в чем сложность? Может быть, мы и виноваты, но нет судьи, имеющего моральное право поставить вопрос о нашей виновности. Помните, у Льва Николаевича: нет в мире виноватых! А в нашем государстве новая формула — все, миром, виноваты, и нет в мире ни одного невинного. Речь идет о мере, о степени вины. Пристало ли вам, товарищ прокурор, обвинять нас? Одни лишь мертвые, те, что не выжили, вправе судить нас. Но мертвые не задают вопросов, мертвые молчат. И вот разрешите на ваш вопрос ответить вопросом. По-человечески, просто, от души, по-русски. В чем причина этой пошлой всеобщей, вашей и нашей поголовной слабости, податливости?

ОБВИНИТЕЛЬ. Вы отклонились от ответа.

(Входит секретарь, протягивает ученому сексоту пакет, говорит: «Правительственный».)

УЧЕНый СЕКСОТ (прочитав бумагу, протягивает ее обвинителю). Прошу вас: в связи с шестидесятилетием отмечены мои более чем скромные заслуги в отечественной науке.

ОБВИНИТЕЛЬ (прочтя бумагу). Не могу не порадоваться за вас невольню как бы, ведь все мы — советские люди.

УЧЕНый СЕКСОТ. Да, да, естественно, спасибо. (Бормочет про себя.) Разрешите через вашу газету поблагодарить... учреждения, организации, а также товарищей и друзей...

ЗАЩИТНИК (становится в позу и произносит речь). Товарищ обвинитель и вы, господа присяжные заседатели! Товарищ прокурор сказал моему подзащитному, что он отклонился от ответа — признает ли он себя хоть в какой-либо мере виновным. Но и вы ведь ему не ответили — в чем причина нашей общей, поголовной податливости? Может быть сама природа человека породила доносчиков, сексотов, информаторов стукачей? может быть, их порождают железы

внутренней секреции, хлюпающая каша в кишечнике, грохот желудочных газов, слизистые оболочки, деятельность почек, они рождаются из безглазых и безносых инстинктов питания, самосохранения, размножения?

Ах, не все ли равно — виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, растительная, минеральная, физико-химическая сторона человека. Вот из этойто слизистой, обросшей шерстью, низменной стороны человеческой сути рождаются стукачи. Государство людей не рождает. Стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки взбухли, ожили. Государство — земля. Если в земле не затаились зерна, не вырастут из земли ни пшеница, ни бурьян. Человек обязан лично себе за мразь человеческую.

Но знаете ли вы, что самое гадкое в стукачах и доносителях? Вы думаете, то плохое, что есть в них?

Нет! Самое страшное то хорошее, что есть в них, самое печальное то, что они полны достоинств, добродетели.

Они любящие, ласковые сыновья, отцы, мужья... На подвиги добра, труда способны они.

Они любят науку, великую русскую литературу, прекрасную музыку, смело и умно некоторые из них судят о самых сложных явлениях современной философии, искусства...

А какие среди них встречаются преданные, добрые друзья! Как трогательно навещают они попавшего в больницу товарища!

Какие среди них терпеливые, отважные солдаты, они делились с товарищем последним сухарем, щепоткой махорки, они выносили на руках из боя истекающего кровью бойца!

А какие среди них есть даровитые поэты, музыканты, физики, врачи, какие среди них умельцы — слесари, плотники, те, о которых народ с восхищением говорит: золотые руки.

Вот это-то и страшно: много, много хорошего в них, в их человеческой сути.

Кого же судить? Природу человека! Она, она рождает эти вороха лжи, подлости, трусости, слабости. Но она ведь рождает и хорошее, чистое, доброе. Доносчики и стукачи полны добродетели, отпустите их по домам, но до чего мерзки они: мерзки со всеми добродетелями, со

всем отпущением грехов... Да кто же это так нехорошо пошутил, сказав: человек — это звучит гордо?

Да, да, они не виноваты, их толкали угрюмые, свинцовые силы. На них давили триллионы пудов, нет среди живых невинных... Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и судье.

Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?

«Черт меня толкнул пешком ходить», — повторял Пинегин. Ему не хотелось думать о том темном, плохом, что спало десятилетия и вдруг проснулось. Не в плохом поступке была суть, суть была в глупой случайности, что столкнула его с погубленным им человеком. Не столкнулись они на улице, спящий бы не просыпался.

Спящий проснулся, и Пинегин, сам того не заметив, все меньше думал о глупой случайности, все больше тревожился и сокрушался: "Что ж, а ведь факт, ведь именно я на Ванечку стукнул, а можно было и обойтись, и сломал человеку позвоночник, черт бы его драл. Сейчас бы встретились — и все в порядке было. Эх, собака, такая дрянь в душе поднялась, словно я залез какой-то даме в сумочку, а она меня поймала за руку, а вокруг все мои референты, секретари, водитель; ох, ох, беда, прямо хоть не живи после такой дряни на свете.

Может быть, и вся моя жизнь одна сплошная подлость. Жить надо было совсем «по другому манеру».

И в нешуточном смятении Пинегин зашел в интуристский ресторан, где его давно знали и метр, и официанты, и швейцар.

Завидя его, два раздевальщика выбежали из-за барьера, пришептывая: «Пожалте, пожалте», — и, похрапывая как жеребцы, в нетерпении тянулись к богатым пинегинским доспехам. Глаза у них были зоркие, хорошие глаза рысистых умных русских ребят из раздевалки интуристского ресторана, умевших точно запомнить, кто был да как одет, что сказал невзначай. Но уж к Пинегину с его депутатским значком они относились всей душой, открыто, почти как к непосредственному начальнику.

Пинегин не спеша, ощущая ногами податливую и одновременно упругую мягкость ковра, прошел в ресторанный зал. Торжественный сумрак стоял в высоком и просторном зале. Пинегин медленно вдохнул спокойный, одновременно прохладный и теплый воздух, оглядел столы, покрытые крахмальными скатертями; неярко поблескивали граненые вазочки с цветами, бокалы и рюмки. Он прошел в знакомый ему уютный угол под резную листву филодендрона.

Он шел между столиками с флажками многих держав мира, и казалось, что это линкоры и крейсера, а он флагман — адмирал,

принимающий парад.

И с этим помогающим жить чувством адмиральства он сел за столик, неторопливо потянулся к оливково-синей, добротной, как лауреатский диплом, обеденной карте и, раскрыв ее, углубил взор в раздел «Холодные закуски».

Просматривая названия, напечатанные на его родном языке и на прочих главнейших языках мира, он перелистнул звенящую картонную страницу, окинул взглядом раздел «Супы», пожевал губами и скосил взор на подотделы: «Блюда из мяса... Блюда из дичи».

И в тот миг, когда он затомился между мясом и дичью, официант, разгадав его раздвоение, произнес:

— Филе, вырезка, сегодня исключительное.

Пинегин долго молчал.

— Что ж, филе так филе, — сказал он.

Он сидел в полутьме и тишине с полузакрытыми глазами, и полновесная правота его жизни спорила со смятением и ужасом, вдруг воскресшими в нем, с огнем и льдом раскаяния.

Но вот тяжелый бархат, драпировавший дверь на кухне, зашевелился, и Пинегин определил по лысой голове официанта: «Мой».

Поднос плыл из полутьмы на Пинегина, и он видел розовато-пепельную лососину среди лимонных солнышек, смуглость икры, тепличную зелень огурцов, крутые бока водочного графинчика и боржомной бутылки.

Да и не был он уж таким гастрономом, и не так уж хотелось ему есть, но именно в эту минуту старый человек в ватнике вновь перестал тревожить его правоту.

Придя на вокзал, Иван Григорьевич почувствовал, что больше ни к чему бродить по ленинградским улицам. Он стоял в холодном высоком вокзальном здании и думал.

И, может быть, кое-кто из людей, проходивших мимо угрюмого старика, глядевшего на черную доску-расписание, подумал: вот он стоит, лагерный русский человек на распутье, гадает, выбирает дорогу.

Нет, он не выбирал дороги.

Десятки следователей на протяжении его жизни понимали, что он не был ни монархистом, ни эсером, ни эсдеком, не участвовал ни в троцкистской, ни в бухаринско-рыковской оппозиции. Он не принадлежал ни к новой, ни к старой церкви, ни к адвентистам седьмого дня.

На вокзале, думая о тяжелых днях в Москве и Ленинграде, он вспомнил разговор с лежавшим рядом с ним на лагерных нарах царским артиллерийским генералом. Старик говорил: «Никуда я из лагеря не пойду — тепло, люди знакомые, кто даст сахару кусок, кто из посылки пирожка».

Такие старики не раз встречались ему, — они уже не хотели уходить из лагеря, тут был их дом, еда в заведенный час, подачки добрых соседей, тепло печурки.

Правда же, куда им было уходить, — одни хранили в обызвествленных глубинах своих сердец воспоминание о сиянии царкосельских люстр, о зимнем солнце Ниццы; другие помнили Менделеева, приходившего по-соседски пить чай в их семью, молодого Блока, вспоминали Скрябина и Репина; третьи хранили во все еще теплом пепле память о Плеханове, Гершуни, Тригони, о друзьях великого Желябова. Бывали случаи, когда отпущенные на свободу старики просились обратно в лагерь, жизненный вихрь сбивал их с дрожащих, слабых ног, огромные города пугали их безлюдием, холодом.

Ивану Григорьевичу хотелось вновь прийти за проволоку, разыскать всех, кто привык к теплему тряпью, к миске с баландой, к барачной печке. Ему хотелось сказать им: «Действительно, страшно на воле!»

И он рассказал бы потерявшим силу старикам, как пришел к родному человеку, как подошел к дому, где жила любимая им женщина, как столкнулся с университетским товарищем, предложившим ему помощь. И он сказал бы лагерным старым людям, что нет выше счастья, чем слепым, безногим выползти на брюхе из лагеря и умереть на воле, хотя бы в десяти метрах от проклятой проволоки.

Чувство покоя и печали возникло у Ивана Григорьевича, когда хлопоты с подысканием жилья и работы закончились, и у него, слесаря в инвалидной, метизовской артели, появился в паспорте заветный штамп о прописке и он стал жить в снятом за сорок старых рублей углу у вдовы погибшего на фронте сержанта Михалева.

У Анны Сергеевны, худой, полуседой и все же молодой женщины, жил двенадцатилетний племянник, сын покойной сестры, бледный, в латаной, штопаной курточке, такой удивительно застенчивый, тихий, любознательный, какой может только появиться в нищенски бедной семье.

На стене висела фотография Михалева — человека с невеселым лицом, он словно уже в ту пору, когда снимался, предвидел свою судьбу. Сын Анны Сергеевны служил срочную службу в конвойных войсках. Его фотография — толстощекий, стриженный под машинку — висела рядом с фотографией отца.

Михалев пропал без веста в первые дни войны, а часть, в которой служил, была искромсана недалеко от границы немецкими танками, и некому было свидетельствовать, остался ли Михалев лежать непохороненным, пристреленным немецким автоматчиком или сдался в плен, — поэтому военкомат не оформлял вдове пенсии.

Михалева работала поваром в столовой. Но жилось ей все же плохо. Старшая сестра ее, колхозница, однажды прислала из деревни посылку для сироты-племянника — коржи из черной с отрубями муки, мутного с воском меду.

Но и Михалева, едва была возможность, посылала сестре в деревню продовольствие: муку, подсолнечное масло, а при случае белый хлеб и сахар.

Ивана Григорьевича удивляло: почему, работая на кухне, Анна Сергеевна такая худенькая и бледная. В лагере сразу можно было узнать пухлолицего повара в толпе заключенных.

Михалева не расспрашивала Ивана Григорьевича о его прошлой лагерной жизни. Расспросил его обстоятельно кадровик в артели. Но Анна Сергеевна, не спрашивая ни о чем, глазами, привычными понимать жизнь, многое увидела, наблюдая Ивана Григорьевича.

Он мог спать на досках, пил горячую воду без заварки и сахара, жевал сухой хлеб, вместо носков носил в ботинках портянки, не имел постельного белья, но она замечала, что рубашка на нем, хотя и застиранная до желтизны, была с чистым воротничком и что по утрам он доставал облупленную и мятую коробку из-под монпансье — чистил щеточкой зубы, тщательно мылил лицо и шею, руки до локтя.

Странной была ему ночная тишина. Он за десятилетия привык к многоголосому храпу, сопению, бормотаниям, стонам сотен спящих в бараках людей, к стуку колотушек, к скрежету колес. Одному приходилось ему быть лишь в карцере, да однажды во время следствия его продержали три с половиной месяца в одиночке. Но нынешняя тишина не была напряженной тишиной одиночки.

В артель он попал по счастливому случаю: в городском саду разговорился с согнутым, похожим на стоящий полоз от саней, чахоточным человеком, и тот рассказал ему, что бросает счетоводство в инвалидной артели и уезжает; уезжает, потому что не хочет быть похороненным в городе, где кладбище расположено в болотной местности и гробы в могилах плавают в воде. А счетовод хотел после смерти полежать с удобствами, он накопил денег на дубовый гроб, купил хорошего красного материала для обивки, запас медных гвоздей, которыми обивали кожаные диваны на вокзале. Не мокнуть же ему со всем своим добром в воде.

Говорил он обо всем этом голосом человека, собравшегося переехать на новую, более удобную квартиру.

По рекомендации этого «новосела», как прозвал его про себя Иван Григорьевич, и удалось ему устроиться слесарем в артель, производившую замки, подбор ключей, лужение и пайку посуды. Пригодилась тут специальность Ивана Григорьевича, одно время слесарившего в лагерной ремонтной мастерской.

Среди рабочих были инвалиды Отечественной войны; были покалеченные на производстве либо на транспорте, имелись три старика, покалеченных еще в войну 1914 года. Оказался в артели и лагерный старожил, рабочий Путиловского завода Мордань — он был осужден по 58-й статье в 1936 году и освобожден после окончания войны. Мордань не захотел возвращаться в Ленинград, где во время блокады умерли его жена и дочь, и поселился у сестры в южном городе, стал работать в артели.

Инвалиды в артели были по большей части люди веселые, склонные юмористически относиться к жизни; но иногда с кем-нибудь из них приключался припадок, и к грохоту молотков, визгу напильников примешивался крик припадочного, начинавшего биться на полу.

У седоусого лудильщика Пташковского, военнопленного 1914 года (говорили, что он австриец, но выдает себя за поляка), вдруг цепенели руки, и он застывал на своем табуретике с поднятым молотком, лицо его становилось неподвижным, надменным. Надо было его потрянуть за плечо, чтобы вывести из оцепенения. А однажды припадок, случившийся с одним инвалидом, заразил сразу многих, и в разных концах мастерской стали биться на полу, кричать молодые и старые люди.

Удивительно хорошо было непривычное Ивану Григорьевичу ощущение: он работал по вольному найму, без конвоя, без вертухов на вышках. И странно было: работа как будто та же, инструмент знакомый, а падлом никто не назовет, не замахнется вор, не пригрозит дрыном сука.

Иван Григорьевич увидел вскоре, каким способом стремятся люди увеличить свои скудные заработки. Кое-кто из своего купленного частным образом материала делал кастрюли и чайники. Продавались они через артель, по государственной цене, не выше и не ниже. Другие договаривались с клиентами о починке барахла частным образом и получали деньги, не выписывая квитанций. И деньги за работу брали такие же, как государство, — не больше и не меньше.

Мордань, человек с ладонями такой величины, что ими, казалось, можно было сгребать зимой снег с тротуаров, рассказывал во время обеденного перерыва о случае, произошедшем накануне в его доме. В соседней квартире живут пять соседей: токарь, портной, монтер механического завода, две вдовы, одна работает на швейной фабрике, другая — уборщица в горсовете. И вот в выходной день обе вдовы встретились в отделении милиции — их на улице задержал ОБХСС за продажу сеток-авосек, которые они тайно друг от друга плели по ночам. Милиция произвела в квартире обыск, и оказалось, что портной по ночам шил мальчишковые и женские пальто, монтер устроил под полом электрическую печку — пек вафли, жена монтера их продавала на базаре, токарь с заводика «Красный факел» оказался ночным

сапожником — шил модельные дамские туфли; вдовы же не только плели авоськи, но и вязали дамские кофточки.

Мордань смешил слушателей, показывал, как монтер кричал, что печет вафли для семьи, а инспектор ОБХСС спрашивал его: так-таки для семьи заготовил он два пуда теста на вафли? Каждого нарушителя оштрафовали на 300 рублей, о каждом сообщили по месту работы и пригрозили высылкой в порядке очищения советской жизни от тунеядцев и нетрудового элемента.

Мордань любил в разговоре ученые слова: рассматривая испорченный замок, он важно говорил:

— Да, ключ совершенно не реагирует на замок.

Идя после работы по улице с Иваном Григорьевичем, он вдруг сказал:

— Я в Ленинград не вернулся не только потому, что жена и дочь погибли. Не могу я смотреть своими рабочими глазами на участь путиловского пролетариата. Бастовать и то не можем. А какой же рабочий человек без права забастовки.

Вечером приходила домой хозяйка. Она приносила с собой в кошелке еду для племянника — суп в бидончике, второе в глиняном горшке.

— Может, покушаете? — тихо спрашивала она у Ивана Григорьевича. — У нас хватит.

— Я вижу, вы сами не едите, — говорил Иван Григорьевич.

— Я весь день ем, у меня работа такая, — ответила она и, видимо, поняв его взгляд, сказала: — Устаю я очень от работы.

В первые дни бледное лицо хозяйки казалось Ивану Григорьевичу недобрый. Потом он увидел — она добра.

Иногда она рассказывала о деревне. В колхозе она была бригадиром, а одно время даже работала председателем колхоза. Колхозы не выполняли план: то недосев, то засуха, то с земли содрали три шкуры и она изнемогла, потеряла силу, то ли все мужики и молодые подались в город... А раз поставку не выполнили, то получали по шесть-семь копеек на трудодень, по сто грамм зерна, а бывали годы, не получали и грамма. А даром люди не любят работать. Колхозники оборвались. Чистый черный хлеб без картофеля и желудей ели, как пряник, только в праздник. Как-то раз она привезла старшей

сестре в деревню белого хлеба, и дети боялись его кушать — первый раз в жизни увидели. Избы ветшают, рушатся, леса на стройку не дают.

Он слушал ее и смотрел на нее. От нее шел милый свет доброты, женственности. Десятилетиями он не видел женщин, но долгими годами он слышал бесконечные барачные истории о женщинах — кровавые, печальные, грязные. И женщина в этих рассказах была то низменна, ниже животного, то чиста, возвышена, выше святых угодниц. Но неизменная мысль о ней была необходима заключенным, как хлебная пайка, сопровождала им в разговорах, в чистых и грязных мечтах и сновидениях.

Странно, конечно, ведь после своего освобождения он видел красивых, нарядных женщин на улицах Москвы и Ленинграда, он сидел за столом с Марией Павловной — седой, красивой дамой; но ни горе охватившее его, когда он узнал, что его юношеская любовь изменила ему, ни прелесть женской нарядной красоты, ни дух довольства и уюта в доме Марии Павловны не вызвали в нем того чувства, которое он испытал, слушая Анну Сергеевну, глядя на ее грустные глаза, милое, поблекшее и одновременно молодое лицо.

И в то же время ничего странного в этом не было. Не могло быть странным то, что происходило постоянно, тысячелетиями между мужчиной и женщиной.

А она объясняла Ивану Григорьевичу:

— Гонять голодных на работу душа не выдерживает. Это не про меня сказали, чтоб кухарка управляла государством. Работают на молотилке женщины и шьют такой чулок, подшивают к подолу, насыпают в него зерно. Надо их обыскивать и под суд отдавать! А за хищение колхозной собственности не меньше семи лет. А у баб дети. Я ночь лежу и думаю — государство берет у колхоза зерно по шесть копеек кило, а продает печеный хлеб по рублю, а в нашем колхозе за четыре года грамма не дали. Что ж это получается? Он ухватил жменьку зерна, того, что сам как-никак посеял, — ему семь лет. Нет, не согласна я. Ну, и устроили земляки в город кухаркой, людей кормить. Рабочие говорят: «Все же в городе лучше. У строительных рабочих расценки — дверь навесить, замок врезать — два с полтиной; за это же дело в выходной день частник ему пятьдесят даст — в двадцать пять раз дешевле ему государство платит». И все равно с деревенских больше берут. Я считаю — государство и с городских и с

деревенских многовато берет. И дома отдыха, и школы, и тракторы, и оборона, все понимаю, но слишком много берут, надо меньше.

Она посмотрела на Ивана Григорьевича.

— Может быть, вся жизнь неправильно поставлена от этого?

Ее глаза медленно перешли с его лица на лицо племянника, и она сказала:

— Я знаю, об этом говорить не полагается. Но я вижу, какой вы человек, — вот и спросила. А вы совсем не знаете, какой я человек, поэтому не отвечайте.

— Нет, зачем же, я отвечу, — сказал Иван Григорьевич. — Я раньше думал, что свобода — это свобода слова, печати, совести. Но свобода, она вся жизнь всех людей — она вот: имеешь право сеять, что хочешь, шить ботинки, пальто, печь хлеб, который посеял, хочешь продавай его и не продавай, и слесарь, и сталевар, и художник, живи, работай, как хочешь, а не как велют тебе. А свободы нет и у тех, кто пишет книги, и у тех, кто сеет хлеб и шьет сапоги.

Ночью Иван Григорьевич лежал и слушал в темноте чье-то сонное дыхание, оно было таким легким, что Иван Григорьевич не мог понять: чье оно, ребенка или женщины.

Ему теперь странно казалось, будто он всю жизнь свою находился в дороге, день и ночь ехал в скрипящем вагоне, десятки лет слышал стук колес и вот наконец приехал — эшелон остановился.

И от этой тридцатилетней дороги, тридцатилетнего дорожного грохота в голове его продолжался шум, звенело в ушах и все казалось, эшелон идет, идет...

Но это не дорожный шум стоял в его ушах, в голове звенел склероз, жизнь-то ведь шла к концу.

Алеша, племянник Анны Сергеевны, был так мал ростом, что казался восьмилетним. Он учился в шестом классе и, придя из школы, наносив воды, помыв посуду, садился готовить уроки.

Иногда он подымал на Ивана Григорьевича глаза и говорил:

— Спросите меня, пожалуйста, по истории.

Когда Алеша готовился по биологии, Иван Григорьевич от нечего делать стал лепить из глины фигурки различных животных, нарисованных в учебнике: жирафа, носорога, гориллу. Алеша остолбенел — до того хороши показались ему глиняные звери, он смотрел на них, переставлял с места на место, ночью поставил их на стул возле себя. На рассвете, идя в очередь за молоком, мальчик страстным шепотом спросил жильца, умывавшегося в коридоре:

— Иван Григорьевич, можно ваших зверей понести в школу?

— Пожалуйста, бери их себе, — сказал Иван Григорьевич.

Вечером Алеша рассказал Ивану Григорьевичу, что учительница рисования сказала:

— Передай вашему жильцу, что он должен непременно учиться.

Михалева впервые увидела Ивана Григорьевича смеющимся, сказала:

— Сходите к учительнице, не смейтесь, может быть, подработаете вечерами, надомником, а то что это за жизнь — триста семьдесят пять рублей в месяц.

— Ничего, мне хватит, — сказал Иван Григорьевич, — а учиться надо было лет тридцать назад.

И тут же он подумал: «Почему я здесь тревожусь? Значит, еще жив, значит, не умер?»

Как то Иван Григорьевич рассказывал Алеше о походе Тамерлана и заметил, что Анна Сергеевна, отложив шитье, внимательно слушает его.

— Вам не в артели быть, — усмехнулась она.

— Ох, — сказал он, — куда мне, у меня знания из книг с выдранными страницами, без начала и конца.

Алеша сообразил, что, должно быть, поэтому Иван Григорьевич выдумывал по-своему, а учителя пересказывали учебник с началом и

концом.

Эта пустяковая история с глиной растревожила Ивана Григорьевича. Он-то, конечно, не обладал настоящим дарованием. Но сколько на его глазах погибло, «оделось деревянбушлатом» молодых физиков, историков, знатоков древних языков, философов, музыкантов, молодых русских Свифтов и Эразмов Роттердамских.

Дореволюционная литература часто оплакивала судьбу крепостных актеров, музыкантов, живописцев. А кто же в нынешних книгах вздохнул о тех юношах и девушках, которым не пришлось нарисовать своих картин и написать своих книг? Русская земля щедро рождает и собственных Платонов, и быстрых разумом Невтонов, но как ужасно и просто пожирает она своих детей.

Театры, кино вызывали у него тоску и тревогу, — казалось, что кто-то насильно заставляет его смотреть на сцену и уже не выпустит. Многие романы и стихи вызывали в нем невыносимое ощущение назойливого, насильственного втемяшивания. Казалось, что в книгах написано о другой, незнакомой ему жизни, в которой нет бараков, усиленного режима, бригадиров, вертуховнадзирателей, оперуполномоченных, паспортной системы, нет всех тех чувств, страданий, страстей, тревог, которыми жили люди вокруг него...

Писатели выдумывали людей, их чувства и мысли, выдумывали комнаты, в которых они живут, поезда, в которых они ездят... Называвшая себя реалистической, литература была не менее условна, чем буколические романы восемнадцатого века. Литературные колхозники, рабочие, деревенские женщины казались сродни тем нарядным, стройным поселянам и завитым пастушкам, что играли на свирелях и танцевали на лужках среди беленьких барашков с голубыми бантиками.

Иван Григорьевич за годы, проведенные в лагерях, многое узнал о людских слабостях. Теперь он видел, что их было немало по обе стороны проволоки... Страдания не только очищали. Борьба за лишний глоток лагерного супа, за льготу на работе была жестокой, и слабые люди опускались до жалкого уровня. Теперь на воле Иван Григорьевич догадывался, как бы жалко, «по-шакальи» скреб ложкой в чужих опорожненных мисках либо рыскал вокруг кухни в поисках очисток и гнилых капустных листьев тот или другой надменный и холеный человек.

Люди, смятые, подавленные насилием, недоеданием, нехваткой тепла, табаку, превратившиеся в лагерных «шакалов», блуждающим взором выискивающие крохи хлеба и слюнявые окурки, вызывали в нем жалость.

Людей на воле Ивану Григорьевичу помогли понять лагерные люди. На воле он увидел и жалкую слабость, и жестокость, и жадность, страх, те же, что в лагерных бараках. Люди были одинаковы. Он жалел их.

А в романах и поэмах советские люди, как и в средневековом искусстве, выражали идею церкви, божества; они провозглашали истинного бога, человек существовал не сам по себе, а ради бога, существовал, чтобы славить бога и его церковь. А некоторые писатели, выдавая ложь за правду, с особой тщательностью воспроизводили подробности одежды, обстановки, поселяя среди живых декораций своих выдуманных богищущих героев.

И на воле, и в лагере люди не хотели признать, что они равны в своем праве на свободу. Некоторые правые уклонисты считали себя невинными, но оправдывали репрессии к левым уклонистам. Левые и правые уклонисты не любили шпионов — тех, кто переписывался с заграничными родственниками, тех, чьи обрусевшие родители носили польские, латышские и немецкие фамилии.

Сколько бы ни говорили крестьяне, что они работали всю жизнь своими руками, — политические им не верили: «Знаем, зря бы не стали раскулачивать бедняков».

Иван Григорьевич говорил бывшему командиру-красногвардейцу, соседу по нарам:

— Вы-то сами всю жизнь преданы идее большевизма, герой гражданской войны, а вот сидите по обвинению в шпионаже.

Тот ему отвечал:

— Со мной произошла ошибка, со мной особая статья, нельзя даже сравнивать.

Когда уголовные, избрав жертву, начинали ее истязать и грабить, одни политические отворачивались, другие сидели с тупыми, застывшими лицами, третьи убегали, четвертые притворялись спящими, натягивали на головы одеяла.

Сотни заключенных, среди них находились бывшие военные, герои, оказывались беспомощными против нескольких уголовников.

Уголовники бесчинствовали, считали себя патриотами, а политических «фашистов» — врагами родины. Люди в лагере были подобны сухим песчинкам, каждая сама по себе.

Один считал, что ошибка совершена лишь по отношению к нему, а вообще «зря не сажают».

Другие рассуждали так: мы на воле считали, что зря не сажают, а теперь на собственной шкуре поняли, что сажают зря. Выводов из этого они никаких не делали и покорно вздыхали.

Тощий, дергающийся работник Коминтерна молодежи, талмудист и диалектик объяснял Ивану Григорьевичу, что никаких преступлений против партии он не совершал, но органы правы, арестовав его как шпиона и двурушника, — не совершив преступления, он все же принадлежит к слою, враждебному партии, слою, порождающему двурушников, троцкистов, оппортунистов на практике, нытиков и маловеров.

Умный лагерный человек, в прошлом областной партийный работник, как-то разговорился с Иваном Григорьевичем.

— Лес рубят, щепки летят, а партийная правда остается правдой, она выше моей беды, — и он указал на себя рукой, добавил: — Я и полетел щепкой при рубке леса.

Он растерялся, когда Иван Григорьевич сказал ему:

— Так в том-то и беда, что лес рубят. Зачем рубить его?

В лагерях Ивану Григорьевичу очень редко приходилось встречать людей, действительно боровшихся против Советской власти.

Бывшие царские офицеры попадали в лагерь не за то, что сколачивали монархическую организацию. Они сидели за то, что могли ее сколотить.

В лагерях сидели социал-демократы и социалисты-революционеры. Многие из них были арестованы в пору своей лояльности и обывательской бездеятельности. Их посадили не за то, что они боролись против Советского государства, имелась вероятность, что они могли бороться против него.

В лагеря ссылались крестьяне не за то, что они боролись против колхозов. Ссылались те, кто при известных условиях, может быть, стал противиться колхозам.

В лагеря попадали люди за невинную критику: одному не нравятся премированные государством книги и пьесы, другому —

отечественные радиоприемники и автоматические ручки. В известных условиях подобные люди могли стать врагами государства.

В лагере ссылались люди за переписку с тетками и братьями, жившими за границей. Их ссылали за то, что вероятность стать шпионами у них была больше чем у тех, кто не имел закордонных родственников.

Это был террор не против преступников, а против тех, кто, по мнению карательных органов, имел несколько большую вероятность стать ими. Отличались от подобных заключенных люди, действительно враждебные Советской власти, боровшиеся против нее: старики эсеры, меньшевики, анархисты либо сторонники самостоятельности Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, а во время войны бандеровцы.

Советские заключенные считали их своими врагами и все же восхищались людьми, посаженными за дело.

В режимном лагере Иван Григорьевич встретил подростка-школьника Борю Ромашкина, приговоренного к десяти годам заключения, он действительно сочинял листовки, обвинявшие государство в расправах над невинными людьми, действительно печатал их на пишущей машинке, действительно расклеивал их ночью на стенах московских домов. Боря рассказывал Ивану Григорьевичу, что во время следствия на него приходили смотреть десятки сотрудников министерства госбезопасности, среди них было несколько генералов — всех интересовал паренек, посаженный за дело. И в лагере Боря был знаменит: все его знали, о нем спрашивали заключенные из соседних лагерей. Когда Ивана Григорьевича этапировали за 800 километров в новый лагерь, он в первый же вечер услышал рассказ о Боре Ромашкине — молва о нем кочевала по Колыме.

Но удивительно было: люди, приговоренные за дело, за действительную борьбу против Советского государства, считали, что все политические зеки невинны, все без изъятия достойны свободы. А те, что сидели «по туфте», по выдуманным, липовым делам, а таких были миллионы, склонны были амнистировать лишь самих себя и старались доказать действительную вину липовых шпионов, кулаков, вредителей, оправдать жестокость государства.

В душевном складе заключенных людей и людей, живших на свободе, имелось одно глубокое различие. Иван Григорьевич видел, что лагерные люди хранили верность времени, породившему их. В характерах и мыслях каждого из них жили разные эпохи русской жизни. Тут были участники гражданской войны со своими любимыми песнями, героями, книгами; тут были зеленые, петлюровцы с нестертыми страстями своего времени, со своими песнями, стихами, повадками; тут были работники Коминтерна двадцатых годов, со своим пафосом, словарем, со своей философией, манерой держаться, произносить слова; тут были и совсем старые люди — монархисты, меньшевики, эсеры, — они хранили в себе мир идей, поведения, литературных героев, существовавший сорок и пятьдесят лет назад.

Сразу можно было в оборванном, кашляющем старике узнать слабодушного, опустившегося и одновременно благородного кавалергарда и в его соседе по нарам, таком же оборванном и поросшем седой щетиной, нераскаянного социал-демократа, в сутулом «придурке»-санитаре — комиссара бронепоезда.

А вот пожилые люди на воле не несли на себе неповторимых примет прошлого времени, в них прошлое было стерто, они легко входили в облик нового дня, — они думали, переживали в соответствии с сегодняшним днем; их словарь, мысли, их страсти, их искренность покорно, гибко менялись с ходом событий и волей начальства.

Чем объяснялось это различие — быть может, в лагере человек, словно в анестезии, замирал?

Живя в лагере, Иван Григорьевич постоянно видел естественное стремление людей вырваться за проволоку, вернуться к женам и детям. Но на воле он иногда встречал отпущенных из лагеря людей, и их покорное лицемерие, их страх перед собственной мыслью, их ужас перед новым арестом были так всеобъемлюще велики, что эти люди казались прочней арестованными, чем в пору лагерных принудработ.

Выйдя из лагеря, работая по вольному найму, живя рядом с любимыми и близкими, такой человек обрекал себя иногда на высшее арестантство, более совершенное и глубокое, чем то, к которому принуждала лагерная проволока.

И все же в муках, в грязи, в мути лагерной жизни светом и силой лагерных душ была свобода. Свобода была бессмертна.

В маленьком городке, живя у вдовы сержанта Михалева, Иван Григорьевич шире, сильнее стал ощущать смысл свободы.

В житейской борьбе, которую ведут люди, в ухищрениях рабочих, добывавших ночным трудом лишний рубль, в битве колхозников за хлеб и картошку, за свою естественную трудовую выгоду он угадывал не только желание жить лучше, досыта накормить детей и одеть их. В борьбе за право шить сапоги, связать кофту, в стремлении сеять, что хочет пахарь, проявлялось естественное, неистребимо присущее человеческой природе стремление к свободе. И это же стремление он видел и знал в лагерных людях. Свобода казалась бессмертна по обе стороны лагерной проволоки.

Как-то вечером после работы он стал перебирать в памяти лагерные слова. Бог мой, на каждую букву алфавита оказалось лагерное слово... А о каждом слове можно написать статьи, поэмы, романы...

Арест... барак... вертух... голод... доходяга... женские лагеря... зека... ИТЛ... ксива... — вот так до конца алфавита. Огромный мир, свой язык, экономика, моральный кодекс. Такими сочинениями можно заполнить книжные полки. Побольше, чем «История фабрик и заводов», затеянная Горьким.

Вот сюжет: история эшелона — формирование, эшелон в пути, охрана эшелона... Какими наивными, домашними кажутся современному этапированному эшелону двадцатых годов, вояж политического в купе пассажирского вагона с философом-охранником, угощающим конвоируемого пирожками. Робкие зачатки лагерной культуры: седой каменный век, цыпленок, едва вылупившийся из яйца...

И нынешний шестидесятивагонный эшелон, идущий в Красноярский край: подвижный тюремный город, товарные четырехосные вагоны, зарешеченные окошечки, трехэтажные нары, вагоны-склады, штабные вагоны, полные надзирателей-вертухов, вагоны-кухни, вагоны со служебными собаками — они рыщут на стоянках вдоль эшелона; начальник эшелона, окруженный, подобно сказочному падишаху, лестью поваров, наложниц-проституткок; поверки, когда в вагон влезает надзиратель, а прочие вертухи с автоматами, направленными в открытые двери теплушек, держат под прицелом заключенных, — тесной грудой сбились люди, а надзиратель

ловко перегоняет помеченных заключенных из одной части вагона в другую, и, как бы стремительно ни кидался заключенный, вертух успевает поддать его палкой по заднице или по кумполу.

А недавно, уже после Великой Отечественной войны, были устроены под днищем хвостовых вагонов стальные гребенки. Если заключенный в пути разберет пол и бросится плашмя меж рельсов, гребенка ухватит его, рванет, швырнет под колесо — не вам, не нам; для тех, кто, проломав потолок, лезет на крышу вагона, установлены кинжальные прожектора — они пронзают тьму от паровоза до хвостового вагона, а пулемет, глядящий вдоль эшелона, ежели по крышам побежит человек, знает свое дело. Да, все развивается. Выкристаллизовалась экономика эшелона — прибавочный продукт, бытовое блаженство конвойных офицеров в вагоне-штабе, приварок с арестантского и собачьего котла, командировочные деньги, начисляемые пропорционально шестидесятидневному движению эшелона к восточносибирским лагерям, внутривагонный товарооборот, жестокое первоначальное вагонное накопление, параллельная ему пауперизация. Да, все течет, все изменяется, нельзя дважды вступить в один и тот же эшелон.

А кто опишет отчаяние этого движения, удаляющего от жен, эти ночные исповеди под железный стук колес и скрип вагонов, покорность, доверчивость, это погружение в лагерную бездну; письма, выбрасываемые из тьмы теплушек в тьму великого степного почтового ящика, и ведь доходили!

В эшелоне нет еще лагерной привычки, нет усталости, нет задуренной лагерной заботой головы; для окровавленного сердца все непривычно, все ужасно: полусвет, скрип, шершавые доски, истеричные, дергающиеся воры, кварцевый взор конвойных.

Вот на плечах подняли к окошечку паренька, и он кричит: «Дедушка, дедушка, куда нас везут?»

И все в теплушке слышат протяжный, надтреснутый, старческий голос:

— В Сибирь, милый, на каторгу...

Вдруг Иван Григорьевич подумал: неужели это мой путь моя судьба? Вот с таких эшелонов началась моя дорога. И вот теперь она кончилась.

Эти часто, без связи возникающие лагерные воспоминания мучили его своей хаотичностью. Он чувствовал, понимал, что в хаосе можно разобраться, что в его силах это сделать и что теперь, когда кончилась лагерная дорога, пришло время увидеть ясность, различить законы в хаосе страданий, противоречий между виной и святой невиновностью, между фальшивыми признаниями своих преступлений и фанатической преданностью, между бессмысленностью убийства миллионов невинных и преданных партии людей и железным смыслом этих убийств.

В последние дни Иван Григорьевич был молчалив, почти не разговаривал с Анной Сергеевной. Но на работе он часто вспоминал о ней, об Алеше и все поглядывал на ходики, висевшие в слесарном цеху, — скоро ли домой.

И почему-то в эти свои молчаливые дни, думая о лагерной жизни, он большей частью вспоминал судьбу лагерных женщин... Никогда он, кажется, так много не думал о женщинах.

...Равноправие женщины с мужчиной утверждено не на кафедрах и не в трудах социологов... Ее равноправие доказано не только в фабричной работе, не в полетах в космос, не в огне революции — оно утверждено в истории России ныне, присно и во веки веков крепостным, лагерным, эшелонным, тюремным страданием.

Перед лицом крепостных веков, перед лицом Колымы, Норильска, Воркуты женщина стала равноправна мужчине.

Лагерь подтвердил и вторую, простую, как заповедь, истину: жизнь мужчин и женщин неделима.

Сатанинская сила в запрете, в плотине. Вода ручьев и рек, стиснутая плотиной, проявляет тайную, темную силу свою. Эта затаенная сила, скрытая в милом плеске, в солнечных бликах, в колыхании кувшинок, вдруг обнаруживает неумолимую злобность воды — крушит камень, с безумной скоростью стремится лопасти турбины.

Безжалостна мощь голода, едва плотина отделяет человека от его хлеба. Естественная и добрая потребность в пище превращается в силу, уничтожающую миллионы жизней, заставляющую матерей поедать своих детей, силу жестокости и озверения.

Запрет, отделяющий лагерных женщин от мужчин, корежит их тела и души.

Все в женщине — ее нежность, ее заботливость, ее страсть, ее материнство — хлеб и вода жизни. Все это рождается в женщине оттого что на свете есть мужья, сыновья, отцы, братья. Все это наполняет жизнь мужчины потому, что есть жена, мать, дочь, сестра.

Но вот в жизнь входит сила запрета. И все простое, доброе, хлеб и питьевая вода жизни, вдруг открывает низменную злобность и тьму

свою.

Подобно волшебству насилие, запрет неминуемо обращают внутри человека доброе в недоброе.

...Между уголовным женским и уголовным мужским лагерем лежала полоса пустынной земли — ее называли огнестрельной зоной, — пулеметы вели огонь, едва на ничейной земле появлялся человек. Уголовники переползали на брюхе огнестрельную зону, прокапывали ходы, лезли под проволоку, лезли на проволоку, а те, кому не повезло, оставались лежать с простреленными головами и перешибленными ногами. Это напоминало безумный, трагический ход нерестящейся рыбы по рекам прегражденным плотинами.

Когда в зловещие, режимные лагеря к женщинам, долгими годами не видевшим лица мужчин, не слышавшим мужского голоса, попадали по наряду слесаря, плотники, их терзали, умучивали, убивали до смерти. Мужчины-уголовники боялись этих лагерей, где счастьем считалось коснуться рукой плеча мертвого мужика, боялись идти туда и под охраной огнестрельного оружия.

Угрюмая, темная беда коверкала каторжных людей, превращала их в нелюдей.

На каторге женщины принуждали женщин к неестественному сожительству. В женских каторжных бараках создавались нелепые характеры — женщины-коблы, с сиплыми голосами, с размашистой походкой, с мужскими замашками, в брюках, заправленных в солдатские кирзовые сапоги. А рядом возникали потерянные жалкие существа — ковырялки.

Коблы пили чифир, курили махру, под пьяную руку избивали своих лживых, легкомысленных подруг, но и охраняли их силой кулака и силой ножа от обиды и грубых чужих притязаний. Этот трагичный, уродливый мир отношений и был любовью в каторжном лагере. Он был страшен, он не порождал смеха, соленых разговоров, а один лишь ужас в душах воров и убийц.

Любовное исступление каторги не знало таежных расстояний, не знало проволоки, каменных стен вахты, БУРОВских замков, перло на волкодаввовчарок, на лезвие ножа, под пулю охраны. Так с вылезшими из орбит глазами, с перешибленными хребтами прет в нерест тихоокеанская рыба, расшибаясь на скалах и булыгах горных стремнин и водопадов.

И тут же лагерные люди хранили любовь жен и матерей, а лагерные невесты-"заочницы", которые никогда не видели и никогда не увидят своих заочно выбранных лагерных женихов, были готовы на любую пытку ради верности обездоленному лагерному избраннику, ради выдуманной туфты.

Кое-что простится человеку, если в грязи и зловонии лагерного насилия он все же человек.

Тихая Машенька... Вот уже нет на ней тонких чулок и синей шерстяной кофточка. Трудно сохранить опрятность в товарном вагоне, с напряжением вслушивается она в странную, словно не русскую речь воровок, соседок по нарам. С ужасом смотрит она на эшелонную царицу — бледногубую истеричную любовницу знаменитого ростовского вора.

Вот Маша выстирала в кружечке платочек, остатками воды обтерла ступни ног, сушит платок на колене, всматривается в полумрак.

В тумане смешались последние месяцы: плач трехлетней Юльки, объевшейся на дне рождения, лица людей, производивших обыск, белье, чертежи, куклы, посуда на полу, вытащенный из горшка фикус, подаренный мамой к свадьбе, последняя улыбка мужа с порога комнаты, жалкая, молящая о верности, — вспоминая эту улыбку, она кричала, хваталась за голову; потом безумные недели, где все, как прежде, и рядом с кастрюлей Юлькиной каши леденящий ужас Лубянки; очереди в приемной внутренней тюрьмы, голос из окошечка: «В передаче отказано»; беготня по родне, заучивание наизусть адресов близких, поспешная, неумелая продажа зеркального шкафа и книг, изданных «Академией»; боль оттого, что закадычная подруга перестала звонить по телефону; снова ночные гости и обыск до рассвета, прощание с Юлькой, которую не отдали, наверное, бабушке, а увезли в приемник; бутырская камера, где говорили шепотом, где иглой при шитье служили спички и выловленные из баланды рыбы кости; пестрое мелькание десятков выстиранных платочков, трусов, лифчиков — их сушили заключенные женщины, размахивали ими в воздухе; ночной допрос — и вот впервые в жизни на нее замахнулись кулаком, назвали «на ты» — б..., проституткой. Ее уличили в недонесении на мужа, он был осужден на десять лет без права переписки за недонесение на террор.

Маша не поняла, почему она и десятки таких, как она, должны доносить на мужей, почему Андрей, сотни таких, как он, должны доносить на товарищей по работе, на друзей детства. Следовательно ее вызвал один лишь раз. Потом прошли восемь тюремных месяцев —

день и ночь, ночь и день. Отчаяние сменялось тупым ожиданием судьбы, и вдруг, как морская волна, окатывала ее надежда, уверенность в скорой встрече с мужем и дочерью.

Наконец, надзиратель вручил ей узкую полоску папиросной бумаги, и она прочла на ней: 58 — 6 — 12.

Но и после этого она надеялась: а вдруг отменят, муж оправдан, Юля дома — и они встретятся, никогда не разлучатся. И от мысли об этой встрече обдавало счастливым огнем и холодом.

Ночью ее разбудили: «Любимова, с вещой!» В «черном вороне» ее повезли, минуя Краснопресненскую пересыльную тюрьму, на товарную станцию Ярославской железной дороги, на погрузку в эшелон...

Особо ей запомнилось утро после ареста мужа, словно это утро все продолжалось. Хлопнула парадная дверь, зашумел мотор, и стало тихо. В ее душу вошел ужас. Звонил в коридоре телефон, лифт вдруг останавливался на лестничной площадке против их двери, соседка, шлепая туфлями, шла из кухни, и неожиданно шлепание туфель стихало.

Она обтирала тряпочкой разбросанные по полу книги, ставила их на полку, она связала в узел белье, лежавшее на полу, — ей хотелось его прокипятить, вещи в комнате казались опоганенными. Она вставила фикус в горшок и погладила его кожанный лист — над этим фикусом смеялся Андрюша, объявил его символом мещанства, и она в душе была согласна с ним. Но Маша никогда не позволяла обижать этот фикус и не разрешила Андрею вынести его на кухню: жалела бедную маму, мама, совсем уж старенькая, везла его в подарок через всю Москву, тащила на пятый этаж, так как лифт в те дни ремонтировался.

Все было тихо! Но соседи не спали. Они жалели ее, боялись ее и млели от счастья, что не к ним пришли с ордером на обыск и арест. Юленька спала, а она убирала комнату. Обычно она не занималась так старательно уборкой. Она вообще была равнодушна к вещам, ее никогда не интересовали люстры, красивая посуда. Некоторые ее считали плохой хозяйкой, неряхой. Но Андрею нравились Машино равнодушные к предметам и беспорядок в комнате. А сейчас ей казалось, что если вещи займут свои места, ей станет спокойней, легче.

Она посмотрела в зеркало, оглядела прибранную комнату. Вот «Путешествие Гулливера» на книжной полке там же, где и вчера, до обыска, фикус вновь стоял на столике. И Юля, до четырех утра плакавшая и цеплявшаяся за мать, сейчас спала. В коридоре было тихо, соседи еще не шумели на кухне.

И в своей чинно прибранной комнатке Машенька ощутила режущее отчаяние. Ее всю осветило нежностью, любовью к Андрею, и тут же, в этой домашней тишине, в окружении привычных предметов, она, как никогда, ощутила беспощадную силу, способную согнуть ось земли, — эта сила пошла прямо на нее, на Юльку, на маленькую комнату, о которой она говорила:

— Мне не надо и двадцати метров с балконом, потому что я здесь счастлива.

Юля! Андрюша! Ее увозят от них! Стук колес сверлит душу. Все дальше она от Юли, с каждым часом приближается Сибирь, данная ей взамен жизни с теми, кого она любила.

Нет уже на Машеньке ее клетчатой юбки, ее гребешком расчесывает трещащие, электрические волосы воровка с бледными, тонкими губами.

Должно быть, лишь в молодом женском сердце живут одновременно две эти муки — материнская — страстное желание спасти своего беспомощного ребенка и одновременно детская беспомощность перед гневом государства, желание спрятать голову на груди у мамы.

На этих грязных, обломанных ноготках был когда-то маникюр, цвет его очень занимал Юльку, а когда-то папа сказал шестилетней дочери: «У Машки ногти, как чешуйки у рыбки». Вот и следов завивки не осталось, она причесывалась за месяц до ареста Андрюши, когда собиралась с ним на рождение к подруге, той, что перестала ей звонить по телефону.

Юленька, Юленька, застенчивая, нервная, в приемнике. Маша тихо, жалобно мычит, в глазах у нее мутнеет — как защитить дочку от жестоких нянек, озорных недобрых детей, рваной и грубой приютской одежды, от солдатского одеяла, соломенной колючей подушки. А вагон скрипит, стучат колеса, все дальше Москва и Юля, все ближе Сибирь.

Боже мой, да было ли все это? А через минуту казалось, не сон ли все то, что происходит сейчас, — эта душная полутьма, алюминиевая

миска, воровки курят махорку на шершавых нарах, грязное белье чешется, чешется тело, и тоска в сердце: «скорей бы остановка, хоть охрана защитит от уголовниц», — а на остановках ужас перед замахивающейся прикладами матерящейся охраной и мысль: «Скорей бы уж тронулись», — и сами воровки говорят: «Вологодский конвой хуже смерти».

Но не в скрипучих нарах, не в морозе на стенках вагона, едва потухает печка, не в жестокости охраны и в бесчинствах воровок ее беда. Беда в том, что в эшелоне ослабело отупение, окуклившее ее душу за время восьмимесячного сидения в тюремной камере.

Всем существом чувствует она девять тысяч километров своего движения в сибирскую могильную глубину.

Здесь нет бессмысленной тюремной надежды на то, что откроется дверь камеры, и надзиратель крикнет: «Любимова, на волю, с вещой», — и она, выйдя на Новослободскую, поедет автобусом до дома, и вот ждут ее Андрей, Юля.

В вагоне нет отупения, нет лагерной беспамятной усталости, одно лишь окровавленное сердце.

А если Юля запишет штанишки, а мытье рук, сопли, ей нужны овощи, всегда раскрывается по ночам, спит голенькая.

Уже нет на Машеньке туфель, на ней солдатские ботинки, у одного ботинка оторвана подошва. Неужели это она, Мария Константиновна, что читала Блока, училась на филологическом, тайно от Андрея писала стихи. Маша, бегавшая на Арбат записываться к парикмахеру Ивану Афанасьевичу — Жану, Машенька, умевшая не только книжки читать, но и борщ варить, и печь торт-наполеон, и шить, и ребенка вскормившая. Маша, всегда восхищенная Андрюшей, его трудолюбием, скромностью, и восхищавшая всех вокруг тем, что так преданно любила Андрюшу и Юлю, Маша, что умела и плакать, и насмешницей быть, и выгадывать копейки.

А эшелон все идет, у Маши начинается тиф — голова мутная, темная, тяжелая. Но тифа нет, она здорова. И снова здесь, в эшелоне, надежда нашла дорожку к ее сердцу. Вот доехали до лагеря — и ей крикнут: «Любимова, выйди из рядов, тут на тебя пришла телеграмма, освобождение», — ну и так далее, и тому подобное: она едет в Москву пассажирским поездом, и вот Софрино, Пушкино, и вот Ярославский вокзал, она видит Андрея, и на руках у него Юля.

И надежда заставляет ее томиться — скорее бы доехать до конечного сибирского пункта, получить телеграмму об освобождении. Как спешат худенькие ноги Юли, она бежит рядом с замедляющим ход вагоном.

Вот она, ограбленная воровками, сошла с эшелона — она прячет мерзнущие пальцы в рукава засаленного ватника, голова ее повязана грязным мохнатым полотенцем. А рядом стеклянно скрипят по снегу туфли сотен московских женщин, осужденных к десяти годам лагеря за недонесение на своих мужей.

Шагают ноги в шелковых чулках, спотыкаются туфли на высоких каблуках. Маше завидуют — она ехала в вагоне с воровками, а не с «женами», ее обокрали, но теперь у нее ватник, в ботинки можно напихать бумаги и тряпья.

Спотыкаются, спешат, падают жены врагов народа, торопливо собирают узелки, рассыпавшиеся по снегу, но плакать боятся.

Маша огляделась: за спиной станционный сарай, товарные вагоны, как красные бусы на белоснежном теле, а впереди разворачивается темная змея — женский этап, кругом штабеля присыпанной снегом древесины, конвой в сказочно теплых полушубках, гавкают овчарки в теплой, густой шерсти. А упоительно чистый после двухмесячного эшелона воздух злее бритвенного лезвия. Поднялся ветер, сухой снежный дым понесло по целине, голова колонны утонула в белой мути. Холод хлещет по лицу, по ногам, голова у Маши кружится.

И вдруг сквозь усталость, сквозь страх обморозиться и получить гангрену, сквозь мечту попасть в тепло и помыться в бане, сквозь оторопь перед грузной старухой в пенсне, лежащей на снегу с каким-то странным, глупо капризным лицом, увидела двадцатилетняя Маша в снежном тумане свою лагерную судьбу... а на прежней судьбе, за спиной ее, за тысячи верст, в Спасопесковском переулке висит, болтается сургучная печать. Из тумана стали видны вышки, стражники в тулупах, распахнутые ворота. Вот в этот миг Маша одинаково ясно увидела две свои жизни: ту, что ушла, другую, что пришла.

Она бежит, спотыкается, дует на заледеневшие пальцы, и безумство надежды не оставляет ее — вот дойдут они до лагеря, там ей скажут о пришедшем освобождении. Потому она и бежит так, задыхается от спешки.

Какая нелегкая была у нее работа! Как болел у нее живот, ломило поясницу от недозволенной женщине, непомерной тяжести комьев извести, а носилки и пустыми казались чугунными; как тяжелы лопаты, ломы, доски, бревна, баки с грязной водой, параши, полные нечистот, многопудовые груды мокрого стираного белья.

Как тяжела была дорога в предутреннем мраке к месту работы, как тяжелы были поверки в слякоть и стужу; какой тошной и какой желанной была кукурузная болтушка с лоскутом требухи, с поганой, липнувшей к небу рыбьей чешуей; как подло, безжалостно воровали в бараке, какие нехорошие разговоры шли ночами на нарах; какая мерзкая возня, шепот и шуршание; каким всегда желанным был черствый, тронутый сединой, черный хлеб.

С шестнадцатилетней Леной Рудольф, лежавшей на нарах рядом с Машей, стал жить уголовный Муха, обслуживавший котельню. Лена заболела сифилисом, у нее сошли ногти на руках и облысела голова, санчасть перевела ее в инвалидный лагерь, а мать Лены, сохранявшая в лагере изящество, светлоглазая, добрая и услужливая Сюзанна Карловна продолжала работать, хотя голова у нее была седая. Сюзанна Карловна делала зарядку до рассвета, обтиралась снегом.

Маша работала дотемна, как кобыла, как верблюдица, как ослица. Лагерь был режимный, она не имела права переписки, не знала, жив ли или казнен муж, где ее Юлька, попала ли в приемник, затерялась ли, как безымянный зверек, или мама нашла ее, да жива ли мама, жив ли брат Володя? Она словно привыкла ничего не знать о своих близких, казалось, не мечтала о письме, хотелось работы полегче, не на морозе, не в тайге, где гнус сжирает, а при кухне, при больнице.

Но тоска по мужу и дочери продолжалась, надежда не умерла, это лишь казалось. Надежда спала. И Маша чувствовала ее сон, как чувствуют на руках спящего ребенка, а когда надежда просыпалась, сердце молодой женщины наполнялось счастьем, светом и горем.

Она еще увидит Юлю и мужа. Конечно, не сегодня, не завтра. Пройдут годы, но она увидит их: как ты поседел, какие печальные глаза у тебя... Юленька, Юленька — эта бледная тоненькая девушка ее дочь. И Маша волнуется: узнает ли ее Юля, вспомнит ли ее, свою лагерную маму, не отвернется ли от нее?

Ее принудил к сожительству старший надзиратель Семисотов, выбил ей два зуба, ударил по виску, это было в первую лагерную

осень. Она пробовала повеситься, но не сумела, веревка оказалась плохонькой. А некоторые женщины ей завидовали. Потом пришло тоскливое безразличие, она два раза в неделю плелась за Семисотовым в складское помещение, где были деревянные нары, прикрытые овчиной. Семисотов всегда был угрюм, молчал, и она его боялась до умопомрачения, ее даже тошнило от страха, когда он пьяным разъярялся. Но как-то он дал ей пять конфет, и она подумала: «Вот бы Юле в детдом переслать», — и не стала их есть, спрятала на нарах, в тюфячок. Потом их украли. Однажды Семисотов сказал: «Грязная вы, шмара, деревенская себя бы не допустила до такого свинства». Он всегда говорил ей «вы», даже когда бывал сильно пьян. Слова Семисотова ее обрадовали, и все же она подумала: если выставит, придется снова с известковым раствором работать.

Семисотов однажды вечером ушел и не появился больше, она потом уж узнала — он перевелся из лагеря. И она радовалась, когда сидела вечером на нарах в бараке, а не шла понурившись на склад. А потом ее выставили из конторы, где она при Семисотове мыла полы и топила печи, — ей ведь нечем было давать хабару, а ее место получила воровка, что в эшелоне отобрала у нее шерстяную кофточку. Она радовалась и в то же время ощущала обиду: он на прощание даже полслова не сказал ей, хуже, чем собаке. А она ведь когда-то имела постоянную прописку в Москве, жила в отдельной изолированной комнате с мужем и Юлей мылась в ванной, ела из тарелки.

А лагерная работа в зимние месяцы была тяжела, а работать в летнее время было тяжело, и в весенние, и в осенние дни было тяжело работать, и она уж вспоминала не Арбат, не Андрея, а лишь то, как при Семисотове мыла полы в конторе. Неужели выпала ей такая лафа?

И все же надежда таилась в ней. Они увидятся... Конечно, она уже будет старухой, совсем седой, у Юли будут дети, но все же они увидятся, они не могут не увидеться.

А голова была забита тревогой, заботой, бедой. То рвалась рубаха, то нападали нарывы, то болел живот и нельзя было отпроситься в санчасть, то вдруг лопалась кожа на пятках и она хромала, а портянки чернели от пятен крови, то расползался валенок, то надо было во что бы то ни стало, не дожидаясь очередной бани, хоть немного помыться, хоть немного постирать, то надо было сушить промокший в непогоду ватник... А все давалось с бою — котелок горячей воды, ниточка для

штопки, иголочка напрокат, ложка с целым черенком, лоскуток, чтобы наложить латочку. Как спастись от мошки, как уберечь лицо, руки от недоброго, как лагерный конвой, мороза?

Но матерные ссоры, драки заключенных женщин были не легче лагерной работы.

А барачная жизнь все шла да шла.

Тетя Таня, уборщица из Орла, шепчет: «Горе живущим на земле...» У нее грубое мужичье лицо, оно кажется жестоким, иступленным. Но в тете Тане нет ни жестокости, ни иступления, одна лишь доброта. За что эта святая попала в лагерь? С какой-то непонятной кротостью она готова мыть за всякую полы, выполнять чужое дежурство.

Старухи монахини, Варвара и Ксения, быстро шепчутся, умолкают, едва к ним подходят грешные мирянки. Они живут в особом мире: подписаться под бумагой — грех, назвать свое мирское имя — грех, пить из одной кружки с мирянками — грех, надеть лагерный бушлат — грех. Их можно убить, так упорны они в своей святости. Их святость видна в их одежде, белых платочках, поджатых губах, но в глазах их холод и презрение к лагерному страданию, к греху. Их святому стародевичеству противны бабьи страсти, бабьи беды, страдания матерей и жен, все это кажется им нечистым. Главное — это соблюдать чистоту платочка, кружечки, с поджатыми губами сторониться грешной лагерной жизни. Воровки их ненавидят, а «жены» недолюбливают и сторонятся.

Жены, жены, московские, ленинградские, киевские, харьковские, ростовские, печальные, практичные и не от мира сего, грешные, слабые, кроткие, злые, смешливые, русские и нерусские женщины в каторжных бушлатах. Жены врачей, инженеров, художников и агрономов, жены маршалов и химиков, жены прокуроров и раскулаченных хуторян, российских, белорусских, украинских хлеборобов. Все они ушли вслед за своими мужьями в скифский мрак барачных курганов.

Чем знаменитей был погибший враг народа, тем шире круг женщин, ушедших за ним в лагерный путь: жена, бывшая жена, самая первая жена, сестры, секретарша, дочь, подруга жены, дочь от первого брака.

Об одних говорили: «Удивительно простая, скромная...», о других: «Ох, совершенно невыносимая, надменная барыня, будто и здесь она на кремлевском положении». Такие и здесь имеют своих приживалок, подхалимок. Вокруг них ореол власти и обреченности. О них шепотом говорят: «Нет, уж эти живыми на волю не выйдут».

Были старухи с усталыми, спокойными глазами, попавшие в тюрьму еще при Ленине, насчитывающие десятки лет тюремной и лагерной жизни. Это народницы, социалистки-революционерки, социал-демократки. Их уважает стража, воровки с ними почтительны; они не встают с нар, если в барак входит сам начальник лагеря. Рассказывают, что одна из них, Ольга Николаевна, маленькая седенькая старушка, была до революции анархисткой, бросила бомбу в карету варшавского губернатора, стреляла в жандармского генерала. Теперь она сидит на лагерных нарах и читает книжечку, пьет из кружки кипяточек. Как-то Маша вернулась ночью со склада от Семисотова, эта старушка подошла к ней, погладила по голове, сказала: «Бедная ты моя девочка». Ах, как плакала тогда Маша.

А недалеко от Маши лежит на нарах Сюзанна Карловна Рудольф. Она делает физкультуру, дышит через нос. Ее муж, американизированный немец, христианский социалист, приехал с семьей в Советскую Россию, принял советское гражданство. Профессор Рудольф осужден на десять лет без права переписки, — расстрелян на Лубянке; Сюзанна Карловна и три ее дочери — Агнесса, Луиза и Лена — попали в режимные лагеря. Сюзанна Карловна ничего не знает о дочерях, младшая Лена теперь тоже не с ней, переведена в инвалидный лагерь. Сюзанна Карловна не здоровается со старухой Ольгой Николаевной, — та назвала Сталина фашистом, а Ленина убийцей русской свободы. Сюзанна Карловна говорит: работой она помогает созданию нового мира и это дает ей силу переносить разлуку с мужем и дочерьми. Сюзанна Карловна рассказывала, что, живя в Лондоне, они дружили с Гербертом Уэллсом, а в Вашингтоне встречались с Рузвельтом, президент любил беседовать с ее мужем. Она все принимает, ей все ясно, лишь одно ей не совсем ясно: она видела, как человек, арестовавший профессора Рудольфа, сунул в карман большую, величиной с детскую ладонь, уникальную золотую монету стоимостью в сто долларов. На монете был изображен в

профиль индеец с перьями, — человек, производивший обыск, взял монету для своего маленького сына, не подумав даже, что она золотая.

Все они, чистые, падшие, измученные и семижилые, жили в мире надежды. Надежда то спала, то просыпалась, но никогда не уходила от них.

И Маша надеялась — надежда ее мучила, но надеждой можно было дышать, даже когда она мучила.

После режимной сибирской зимы, долгой, как лагерный срок, пришла бледненькая весна, и Машу погнали вместе с двумя женщинами чинить дорогу, ведущую в соцгород, где жили в бревенчатых коттеджах начальники и вольнонаемный персонал.

Она издали увидела свои арбатские занавески на высоких окнах и силуэт фикуса. Она видела, как девочка со школьной сумкой поднялась на крыльцо и вошла в дом начальника управления режимных лагерей.

Конвойный сказал: «Ты что, кино сюда пришла смотреть?»

А когда они при свете вечерней зорьки шли к лагерю, возле склада пиломатериалов заиграло магаданское радио.

Маша и две женщины, что плелись вместе с ней, шаркая по грязи, опустили лопаты и остановились.

На фоне бледненького неба стояли лагерные вышки, и, как крупные мухи, застыли на них часовые в черных полушубках, а приземистые бараки словно вышли из земли и раздумывали, не уйти ли снова в землю.

Музыка была не печальная, а веселая, танцевальная, и Маша плакала, слушая ее, как никогда, кажется, в жизни не плакала. И две женщины, рядом с ней, одна из них была раскулаченная, а вторая ленинградская, пожилая, в очках с треснувшими стеклами, плакали, стоя рядом с Машей. И казалось, что трещины на стеклах очков сделались от этих слез.

Конвойный растерялся: ведь заключенные редко плакали, сердца их были схвачены, как тундра, мерзлотой.

Конвойный толкал их в спины и просил:

— Ладно уж, хватит, падло, вашу мать, честью вас, б... и, прошу. Он все оглядывался, ему в голову не приходило, что женщины плакали от радио.

Но и сама Маша не понимала, почему вдруг ее сердце переполнилось тоской, отчаянием; словно бы соединилось все, что

было в жизни: мамина любовь, клетчатое шерстяное платье, которое ей так шло, Андрюша, красивые стихи, морда следователя, рассвет над вдруг просиявшим голубым морем в Калесури под Сухумом, Юлькина болтовня, Семисотов, старухи монашки, бешеные ссоры коблов, тоска от того, что бригадирша стала, прищурившись, пристально поглядывать на Машу, как поглядывал на нее Семисотов; почему вдруг под веселую танцевальную музыку стала ощущаться грязная сорочка на теле, тяжелые, как сырые утюги, ботинки, пахнувший кислотой бушлат; почему вдруг бритвой полоснул по сердцу вопрос: за что, за что ей, Маше, за что ей эти морозы, это душевное растрепывание, эта пришедшая к ней покорность к каторжной судьбе?

Надежда, всегда давившая своей живой тяжестью ей на сердце, умерла...

Под эту веселую танцевальную музыку Маша навсегда потеряла надежду увидеть Юлю, затерянную среди приемников, коллекторов, колоний, детдомов, в громаде Союза Советских Социалистических Республик. Под веселую музыку танцевали ребята в общежитиях и клубах. И Маша поняла, что мужа ее нет нигде, он расстрелян, и она уже никогда не увидит его.

И она осталась без надежды, совсем одна... Никогда она не увидит Юлю, ни сегодня, ни седой старухой, никогда.

Боже, боже, сжался над ней, господи, пожалей, помилуй ее.

Через год Маша ушла из лагеря. Перед тем, как вернуться на волю, она полежала в морозной землянке на сосновом настиле, и ее не торопили на работу, никто не обижал ее; санитары положили Машу Любимову в четырехугольный ящик, сколоченный из выбракованных отделом технического контроля досок, поглядели в последний раз на ее лицо, на нем было выражение милого детского восторга и растерянности, то выражение, с каким она у склада пиломатериалов слушала веселую музыку, сперва обрадовалась, а потом поняла, что надежды нет.

И Иван Григорьевич подумал, что на колымской каторге мужчина неравноправен женщине, — все же судьба мужчины легче.

Иван Григорьевич во сне увидел мать. Она шла по дороге, сторонясь потока тягачей, самосвалов; она не видела сына, он кричал: «Мама, мама, мама...», но тяжелый гул тракторов заглушал его голос.

Он не сомневался, что она в сутолоке дороги узнает в седом лагернике своего сына, только бы услышала, только бы оглянулась, но она не слышала его, не оглянулась.

Он в отчаянии открыл глаза, над ним склонилась полуодетая женщина, — он во сне звал мать, и женщина подошла к нему.

Она была рядом с ним. Он почувствовал сразу, всем существом своим, что она прекрасна. Она слышала, как он кричал во сне, и она подошла к нему, испытывая к нему нежность и жалость. Глаза женщины не плакали, но он увидел в них нечто большее, чем слезы сочувствия, увидел то, чего он никогда не видел в глазах людей.

Она была прекрасна потому, что она была добра. Он взял ее за руку. Она легла рядом с ним, и он ощутил ее тепло, ее нежную грудь, ее плечи, ее волосы. Казалось, он ощущал не наяву, а во сне: наяву он никогда не бывал счастлив.

Вся она была доброта, и он понимал телесным существом своим, что ее нежность, ее тепло, ее шепот прекрасны, потому что сердце ее полно доброты к нему, потому что любовь есть доброта.

Первая любовная ночь...

— Вспоминать это не хочется, тяжело очень, а не забудешь тоже. Вот живет оно — то ли спит, не спит. Железо в сердце, словно осколок. Не отмахнешься от него. Как забыть... Я вполне взрослая была.

Милый мой, я мужа очень любила. Я красивая была, а все же плохая, недобрая. Мне тогда двадцать два года было. Ты меня не полюбил бы тогда и красивую. Я знаю, я как женщина чувствую: не только я для тебя то, что мы рядом с тобой легли. А я смотрю на тебя, ты не сердись, как на Христа. Все хочется перед тобой, как перед богом, каяться. Хороший мой, желанный, я хочу тебе об этом рассказать, все вспомнить, что было.

Нет, при раскулачивании голода не было, упали только площади. А голод пришел в тридцать втором, на второй год после раскулачивания.

Я в РИКе полы мыла, а подруга моя в земотделе, и мы много знали, я могу все, как было, рассказать. Счетовод мне говорил: «Тебе министром быть», я действительно быстро понимаю, и память у меня хорошая.

Раскулачивание началось в двадцать девятом году, в конце года, а главный разворот стал в феврале и марте тридцатого.

Вот вспомнила: прежде чем арестовывать, на них обложение сделали. Они раз выплатили, вытянули, во второй раз продавали, кто что мог, — только бы выплатить. Им казалось — если выплатят, государство их помилует. Некоторые скотину резали, самогон из зерна гнали — пили, ели, все равно, говорили, жизнь пропала.

Может быть, в других областях по-иному было, а в нашей именно так шло. Начали арестовывать только глав семейств. Большинство взяли таких, кто при Деникине служил в казачьих частях. Аресты одно ГПУ делало, тут актив не участвовал. Первый набор весь расстреляли, никто не остался в живых. А тех, что арестовали в конце декабря, продержали в тюрьмах два-три месяца и послали на спецпереселение. А когда отцов арестовывали, семей не трогали, только делали опись хозяйства, и семья уж не считалась владеющей, а принимала хозяйство на сохранение.

Область спускала план — цифру кулаков в районы, районы делили свою цифру сельсоветам, а сельсоветы уже списки людей составляли. Вот по этим спискам и брали. А кто составлял? Тройки. Мутные люди определяли — кому жить, кому смерть. Ну и ясно — тут уж всего было — и взятки, и из-за бабы, и за старую обиду, и получалось иногда — беднота попадала в кулаки, а кто побогаче откупался.

А теперь я вижу, не в том беда, что, случалось, списки составляли жулье. Честных в активе больше было, чем жулья, а злодейство от тех и других было одинаковое. Главное, что все эти списки злодейские, несправедливые были, а уж кого в них вставить — не все ли равно. И Иван невинный, и Петр невинный. Кто эту цифру дал на всю Россию? Кто этот план дал на все крестьянство? Кто подписал?

Отцы сидят, а в начале тридцатого года семьи стали забирать. Тут уж одного ГПУ не хватило, актив мобилизовали, все свои же люди знакомые, но они какие-то обалделые стали, как околдованные, пушками грозятся, детей кулацкими вырожденками называют, кровососы,

кричат, а в кровососах со страху в самих ни кровинки не осталось, белые, как бумага. А глаза у актива, как у котов, стеклянные. И ведь в большинстве свои же. Правда: околдованные — так себя уговорили, что касаться ничего не могут, — и полотенце поганое, и за стол паразитский не сядут, и ребенок кулацкий омерзительный, и девушка хуже воши. И смотрят они на раскулачиваемых, как на скотину, на свиней, и все в кулаках отвратительное — и личность, и души в них нет, и воняет от кулаков, и все они венерические, а главное — враги народа и эксплуатируют чужим трудом. А беднота, да комсомол, и милиция — это все Чапаевы, одни герои, а посмотреть на этот актив: люди, как люди, и сопливые среди них есть, и подлецов хватает.

На меня тоже стали эти слова действовать, девчонка совсем — а тут и на собраниях, и специальный инструктаж, и по радио передают, и в кино показывают, и писатели пишут, и сам Сталин, и все в одну точку: кулаки, паразиты, хлеб жгут, детей убивают, и прямо объявили: поднимать ярость масс против них, уничтожать их всех, как класс, проклятых... И я стала околдовываться, и все кажется: вся беда от кулаков и, если уничтожить их сразу, для крестьянства счастливое время наступит. И никакой к ним жалости: они не люди, а не разберешь что, твари. И я в активе стала. А в активе всего было: и такие, что верили и паразитов ненавидели, и за беднейшее крестьянство, и были — свои дела обделывали, а больше всего, что приказ выполняли, — такие и отца с матерью забьют, только бы исполнить по инструкции. И не те самые поганые, что верили в счастливую жизнь, если уничтожить кулаков. И лютые звери, и те не самые страшные. Самые поганые, что на крови свои дела обделывали, кричали про сознательность, а сами личный счет сводили и грабили. И губили ради интереса, ради барахла, пары сапог, а погубить легко — напиши на него, и подписи не надо, что на него батрачили или имел трех коров, — и готов кулак. И все это я видела, волновалась, конечно, но в глубине не переживала — если бы на ферме скотину не по правилу резали, я бы волновалась, конечно, сильно, но сна бы не лишилась.

...Неужели не помнишь, как ты мне ответил? А я не забуду твоих слов. От них видно, они дневные. Я спросила, как немцы могли у евреев детей в камерах душить, как они после этого могут жить, неужели ни от людей, ни от бога так и нет им суда? А ты сказал: суд

над палачом один — он на жертву свою смотрит не как на человека и сам перестает быть человеком, в себе самом человека казнит, он самому себе палач, а загубленный остается человеком навеки, как его ни убивай. Вспомнил?

Я понимаю, почему теперь я в кухарки пошла, не захотела дальше быть председателем колхоза. Да я раньше тебе уже про это говорила.

И я вспоминаю теперь раскулачивание, и по-другому вижу все — расколдовалась, людей увидела. Почему я такая заледенелая была? Ведь как люди мучились, что с ними делали! А говорили: это не люди, это кулачье. А я вспоминаю, вспоминаю и думаю — кто слово такое придумал — кулачье, неужели Ленин? Какую муку приняли! Чтобы их убить, надо было объявить — кулаки не люди. Вот так же, как немцы говорили: жида не люди. Так и Ленин, и Сталин: кулаки не люди. Неправда это! Люди! Люди они! Вот что я понимать стала. Все люди!

Ну вот, в начале тридцатого года стали семьи раскулачивать. Самая горячка была в феврале и в марте. Торопили из района, чтобы к посевной кулаков уж не было, а жизнь пошла по-новому. Так мы говорили: первая колхозная весна.

Актив, ясно, выселял. Инструкции не было, как выселять. Один председатель нагонит столько подвод, что имущества не хватало, звание — кулаки, а подводы полупустые шли. А из нашей деревни гнали раскулаченных пешком. Только что на себя взяли — постель, одежду. Грязь была такая, что сапоги с ног стаскивала. Нехорошо было на них смотреть. Идут колонной, на избы оглядываются, от своей печки тепло еще на себе несут, что они переживали, — ведь в этих домах родились, в этих домах дочек замуж отдавали. Истопили печку, а щи недоваренные остались, молоко недопитое, а из труб еще дым идет, плачут женщины, а кричать боятся. А нам хоть бы что: актив — одно слово. Подгоняем их, как гусей. А сзади тележка — на ней Пелагея слепая, старичок Дмитрий Иванович, который лет десять через ноги из хаты не выходил, и Маруся-дурочка, парализованная, кулацкая дочь, ее в детстве лошадь копытом по виску ударила — и с тех пор она обомлела.

А в райцентре нехватка тюрем. Да и какая в райцентре тюрьма — каталажка. А тут ведь сила — из каждой деревни народная колонна. Кино, театр, клубы, школы под арестантов пошли. Но держали людей недолго. Погнали на вокзал, а там на запасных путях эшелоны ждали,

порожняк товарный. Гнали под охраной — милиция, ГПУ — как убийц: дедушки да бабушки, бабы да дети, отцов-то нет, их еще зимой забрали. А люди шепчут: «Кулачье гонят», словно на волков. И кричали им некоторые: «Вы проклятые», а они уж не плачут, каменные стали...

Как везли, я сама не видела, но от людей слышала, ездили наши за Урал к кулакам в голод спасаться, я сама от подруги письмо получила; потом убегали из слеспереселения некоторые, я с двумя говорила...

Везли их в опечатанных теплушках, вещи шли отдельно, с собой только продукты взяли, что на руках были. На одной транзитной станции, подруга писала, отцов в эшелон посадили, была в тот день в этих теплушках радость великая и слезы великие... Ехали больше месяца, пути эшелонами забиты, со всей России крестьян везли, впритир лежали, и нар не было, в скотских вагонах. Конечно, больные умерли в дороге, не доехали. Но главное что: кормили на узловых станциях — ведро баланды, хлеба двести грамм.

Конвой военный был. У конвоя злобы не было, как к скотине, так мне подруга писала.

А как там было — мне эти беглые рассказывали — область их разверстывала по тайге. Где деревушка лесная, там нетрудоспособных в избы набили, тесно, как в эшелоне. А где деревни вблизи нет — прямо на снег сгружали. Слабые померзли. А трудоспособные стали лес валить, пней, говорят, не корчевали, они не мешали. Деревья выкатывали и строили шалаши, балаганы, без сна почти работали, чтобы семьи не померзли; а потом уж стали избышки класть, две комнатки, каждая на семью. На мху клали — мхом конопатили.

Трудоспособных закупили у энкаведе леспромхозы, снабжение от леспромхоза, а на иждивенцев паек. Называлось: трудовой поселок, комендант, десятники. Платили, рассказывали, наравне с местными, но заработок весь на заборные книжки уходил. Народ могучий наш — стали скоро больше местных получать. Права не имели за пределы выйти — или в поселке, или на лесосеке. Потом уж, я слышала, в войну им разрешили в пределах района, а после войны разрешили героям труда и вне района, кое-кому паспорта дали.

А подруга мне писала: из нетрудоспособного кулачества стали колонии сбивать — на самоснабжении. Но семена в долг дали и до первого урожая от энкаведе на пайке. А комендант и охрана

обыкновенно — как в трудовых поселках. Потом их в артели перевели, у них там, помимо коменданта, выборные были.

А у нас новая жизнь без раскулаченных началась. Стали в колхоз сгонять — собрания до утра, крик, матерщина. Одни кричат: не пойдем, другие — ладно уж, пойдем, только коров не отдадим. А потом пришла Сталина статья — головокружение от успехов. Опять каша: кричат — Сталин не велит силой в колхозы гнать. Стали на обрывках газет заявления подавать: выбываю из колхоза в единоличные. А потом опять загонять в колхозы стали. А вещи, что остались от раскулаченных, большей частью раскрадывали.

И думали мы, что нет хуже кулацкой судьбы. Ошиблись! По деревенским топор ударил, как они стояли все, от мала до велика.

Голодная казнь пришла.

А я тогда уже не помы мыла, а счетоводом стала. И меня как активистку послали на Украину для укрепления колхоза. У них, нам объясняли, дух частной собственности сильнее, чем в Рэсэфэсэр. И правда, у них еще хуже, чем у нас дело шло. Послали меня недалеко, мы ведь на границе с Украиной, — трех часов езды от нас до этого места не было. А место красивое. Приехала я туда — люди как люди. И стала я в правлении ихнем счетоводом.

Я во всем, мне кажется, разобралась. Меня, видно, не даром старик министром назвал. Это я тебе только так говорю, потому что тебе — как себе, а постороннему человеку я никогда не похвастаюсь про себя. Всю отчетность я без бумаги в голове держала. И когда инструктаж был, и когда наша тройка заседала, и когда руководство водку пило, я все разговоры слушала.

Как было? После раскулачивания очень площади упали и урожайность стала низкая. А сведения давали — будто без кулаков сразу расцвела наша жизнь. Сельсовет врет в район, район — в область, область — в Москву. И докладывают про счастливую жизнь, чтобы Сталин порадовался: в колхозном зерне вся его держава купаться будет. Пospel первый колхозный урожай, дала Москва цифры заготовки. Все как нужно: центр — областям, области — по районам. И нам дали в село заготовку — и за десять лет не выполнить! В сельсовете и те, что не пили, со страху перепились. Видно, Москва больше всего на Украину понадеялась. Потом на Украину и больше

всего злости было. Разговор-то известный: не выполнил — значит, сам недобитый кулак.

Конечно, поставки нельзя было выполнить — площади упали, урожайность упала, откуда же его взять, море колхозного зерна? Значит — спрятали! Недобитые кулаки, лодыри. Кулаков убрали, а кулацкий дух остался. Частная собственность у хохла в голове хозяйка.

Кто убийство массовое подписал? Я часто думаю — неужели Сталин? Я думаю, такого приказа, сколько Россия стоит, не было ни разу. Такого приказа не то что царь, но и татары, и немецкие оккупанты не подписывали. А приказ — убить голодом крестьян на Украине, на Дону, на Кубани, убить с малыми детьми. Указание было забрать и семенной фонд весь. Искали зерно, как будто не хлеб это, а бомбы, пулеметы. Землю истыкали штыками, шомполами, все подпопы перекопали, все полы повзламывали, в огородах искали. У некоторых забирали зерно, что в хатах было, — в горшки, в корыта ссыпаны. У одной женщины хлеб печеный забрали, погрузили на подводу и тоже в район отвезли.

Днем и ночью подводы скрипели, пыль над всей землей висела, а элеваторов не было, ссыпали на землю, а кругом часовые ходят. Зерно к зиме от дождя намокло, гореть стало — не хватило у советской власти брезента мужицкий хлеб прикрыть.

А когда еще из деревень везли зерно, кругом пыль поднялась, все в дыму: и село, и поле, и луна ночью. Один с ума сошел: горим, небо горит, земля горит! Кричит! Нет, небо не горело, это жизнь горела.

Вот тогда я поняла: первое для советской власти — план. Выполни план! Сдай разверстку, поставки! Первое дело — государство. А люди — нуль без палочки.

Отцы и матери хотели детей спасти, хоть немного хлеба спрятать, а им говорят: у вас лютая ненависть к стране социализма, вы план хотите сорвать, тунеядцы, подкулачники, гады. Не план сорвать, детей хотели спасти, самим спастись. Кушать ведь людям нужно.

Рассказать я все могу, только в рассказе слова, а это ведь жизнь, мука, смерть голодная. Между прочим, когда забирали хлеб, объясняли активу, что из фондов кормить будут. Неправда это была. Ни зерна голодным не дали.

Кто отбирал хлеб, большинство свои же, из РИКа, из райкома, ну комсомол, свои же ребята, хлопцы, конечно, милиция, энкаведе, кое-

где даже войска были, я одного мобилизованного московского видела, но он не старался как-то, все стремился уехать... И опять, как при раскулачивании, люди все какие-то обалделые, озверелые стали.

Гришка Саенко, милиционер, он на местной, деревенской, был женат и приезжал гулять на праздники — веселый, и хорошо танцевал танго и вальс, и пел украинские песни деревенские. А тут к нему подошел дедушка совсем седенький и стал говорить: «Гриша, вы нас всех защищаете, это хуже убийства, почему рабоче-крестьянская власть такое против крестьянства делает, чего царь не делал...» Гришка пихнул его, а потом пошел к колодцу руки мыть, сказал людям: «Как я буду ложку рукой брать, когда я этой паразитской морды касался».

А пыль — и ночью и днем пыль, пока хлеб везли. Луна — вполнеба — камень, и от этой луны все диким кажется, и жарко так ночью, как под овчиной, и поле, хоженое-перехоженное, как смертная казнь, страшное.

И люди стали какие-то растерянные, и скотина какая-то дикая, пугается, мычит, жалуется, и собаки выли сильно по ночам. И земля потрескалась.

Ну вот, а потом осень пришла, дожди, а потом зима снежная. А хлеба нет.

И в райцентре не купишь, потому что карточная система. И на станции не купишь, в палатке, — потому что военизированная охрана не подпускает. А коммерческого хлеба нет.

С осени стали нажимать на картошку, без хлеба быстро она пошла. А к рождеству начали скотину резать. Да и мясо это на костях, тощее. Курей порезали, конечно. Мясо быстро подъели, а молока глоточка не стало, во всей деревне яичка не достанешь. А главное — без хлеба. Забрали хлеб у деревни до последнего зерна. Ярового нечем сеять, семенной фонд до зернышка забрали. Вся надежда на озимый. Озимые под снегом еще, весны не видно, а уж деревня в голод входит. Мясо съели, пшено, что было, подъедают вчистую, картошку, у кого семьи большие, съели всю.

Стали кидаться ссуды просить — в сельсовете, в район. Не отвечают даже. А доберись до района, лошадей нет, пешком по большаку девятнадцать километров.

Ужас сделался. Матери смотрят на детей и от страха кричать начинают. Кричат, будто змея в дом вползла. А эта змея — смерть, голод. Что делать? А в голове у селян только одно — что бы покушать. Сосет, челюсти сводит, слюна набегает, все глотаешь ее, да слюной не накушаешься. Ночью проснешься, кругом тихо: ни разговору, ни гармошки. Как в могиле, только голод ходит, не спит. Дети по хатам с самого утра плачут — хлеба просят. А что мать им даст — снегу? А помощи ни от кого. Ответ у партийных один — работать надо было, лодырничать не надо было. А еще отвечали: у себя самих поищите, в вашей деревне хлеба закопано на три года.

Но зимой еще настоящего голода не было. Конечно, вялые стали, животы вздуло от картофельных очистков, но опухших не было. Стали желуди из-под снега копать, сушили их, а мельник развел жерновы пошире, молот желуди на муку. Из желудей хлеб пекли, вернее, лепешки. Они темные очень, темнее ржаного хлеба. Кое-кто добавлял отрубей или картофельных очистков толченых. Желуди быстро кончились — дубовый лесок небольшой, а в него сразу три деревни кинулись. А приехал из города уполномоченный и в сельсовете говорил нам: вот паразиты, из-под снега голыми руками желуди таскают, только бы не работать.

В школу старшие классы почти до самой весны ходили, а младшие зимой перестали. А весной школа закрылась — учительница в город уехала. И с медпункта фельдшер уехал — кушать стало нечего. Да и не вылечишь голода лекарством. Деревня одна осталась — кругом пустыня и голодные в избах. И представители разные из города ездить перестали — чего ездить? Взять с голодных нечего, значит, и ездить не надо. И лечить не надо, и учить не надо. Раз с человека держава взять ничего не может, он становится бесполезный. Зачем его учить да лечить?

Сами остались, отошло от голодных государство. Стали люди по деревне ходить, просить друг у друга, нищие у нищих, голодные у голодных. У кого детей поменьше или одинокие, у таких кое-что к весне оставалось, вот многодетные у них и просили. И случалось, давали горстку отрубей или картошек парочку. А партийные не давали — и не от жадности или по злобе, боялись очень. А государство зернышка голодным не дало, а оно ведь на крестьянском хлебе стоит. Неужели Сталин про это знал? Старики рассказывали: голод бывал при

Николае — все же помогали, и в долг давали, и в городах крестьянство просило Христа ради, и кухни такие открывали, и жертвования студенты собирали. А при рабоче-крестьянском правительстве зернышка не дали, по всем дорогам заставы — войска, милиция, энкаведе — не пускают голодных из деревень, к городу не подойдешь, вокруг станций охрана, на самых малых полустанках охрана. Нету вам, кормильцы, хлеба. А в городе по карточкам рабочим по восемьсот грамм давали. Боже мой, мыслимо ли это — столько хлеба — восемьсот грамм! А деревенским детям ни грамма. Вот как немцы — детей еврейских в газу душили: вам не жить, вы жида. А здесь совсем не поймешь — и тут советские, и тут советские, и тут русские, и тут русские, и власть рабоче-крестьянская, за что же эта погибель?

А когда снег таять стал, вошла деревня по горло в голод.

Дети кричат, не спят: и ночью хлеба просят. У людей лица, как земля, глаза мутные, пьяные. И ходят сонные, ногой землю щупают, рукой за стенку держатся. Шатает голод людей. Меньше стали ходить, все больше лежат. И все им мерещится — обоз скрипит, из райцентра прислал Сталин муку — детей спасать.

Бабы крепче оказались мужчин, злее за жизнь цеплялись. А досталось им больше — дети кушать у матерей просят. Некоторые женщины уговаривают, целуют детей: «Ну не кричите, терпите, где я возьму?» Другие как бешеные становятся: «Не скули, убью!» — и били чем попало, только бы не просили. А некоторые из дому выбегали, у соседей отсиживались, чтобы не слышать детского крика.

К этому времени кошек и собак не осталось — забили. И ловить их было трудно — они опасались людей, глаза дикие у них стали. Варили их, жилы одни сухие, из голов студень вываривали.

Снег стаял, и пошли люди опухать, пошел голодный отек — лица пухлые, ноги как подушки, в животе вода, мочатся все время — на двор не успевают выходить. А крестьянские дети: видел ты, в газете печатали — дети в немецких лагерях? Одинаковы: головы, как ядра, тяжелые, шеи тонкие, как у аистов, на руках и на ногах видно, как каждая косточка под кожей ходит, как двойные соединяются, весь скелет кожей, как желтой марлей, затянут. А лица у детей старенькие, замученные, словно младенцы семьдесят лет на свете уж прожили, а к весне уж не лица стали: то птичья головка с клювиком, то лягушечья мордочка — губы тонкие, широкие, третий как пескаррик — рот

открыт. Нечеловеческие лица, а глаза, господи! Товарищ Сталин, боже мой, видел ты эти глаза? Может быть, и в самом деле он не знал, он ведь статью написал про головокружение.

Чего только не ели — мышей ловили, крыс ловили, галок, воробьев, муравьев, земляных червей копали, стали кости на муку толочь, кожу, подошву, шкуры старые вонючие на лапшу резали, клей вываривали. А когда трава поднялась, стали копать корни, варить листья, почки, все в ход пошло — и одуванчик, и лопух, и колокольчики, и иван-чай, и сныть, и борщевик, и крапива, и очиток... Липовый лист сушили, толкли на муку, но у нас липы мало было. Лепешки из липы зеленые, хуже желудовых.

А помощи нет! Да тогда уж не просили! Я и теперь, когда про это думать начинаю, с ума схожу, — неужели отказался Сталин от людей? На такое страшное убийство пошел. Ведь хлеб у Сталина был. Значит, нарочно убивали голодной смертью людей. Не хотели детям помочь. Неужели Сталин хуже Ирода был? Неужели, думаю, хлеб до зерна отнял, а потом убил людей голодом. Нет, не может такого быть! А потом думаю: было, было! И тут же — нет, не могло того быть!

Вот когда еще не обессилели, ходили полем к железной дороге, не на станцию, на станцию охрана не допускала, а прямо на пути. Когда идет скорый поезд Киев — Одесса, на колени становятся и кричат: хлеба, хлеба! Некоторые своих страшных детей поднимают. И, случалось, бросали люди куски хлеба, объедки разные. Пыль уляжется, отгрохочет, и ползает деревня вдоль пути, корки ищет. Но потом вышло распоряжение, когда поезд через голодные области шел, охрана окна закрывала и занавески спускала. Не допускала пассажиров к окнам. Да и сами деревенские ходить перестали — сил не стало не то что до рельсов дойти, а из хаты во двор выползти.

Я помню, один старик принес председателю кусок газеты, подобрал его на путях. И там заметка: француз приехал, министр знаменитый, и его повезли в Днепропетровскую область, где самый страшный мор был, еще хуже нашего, там люди людей ели, и вот в село его привезли, в колхозный детский садик, и он спрашивает: «Что вы сегодня на обед кушали?», а дети отвечают: «Куриный суп с пирожком и рисовые котлеты». Я сама читала, вот как сейчас вижу этот кусок газеты. Что ж это? Убивают, значит, на тихаря миллионы людей и весь свет обманывают! Куриный суп, пишут! Котлеты! А тут

червей всех съели. А старик председателю сказал: при Николае на весь свет газеты про голод писали — помогите, крестьянство гибнет. А вы, природы, театры представляете!

Завыло село, увидело свою смерть. Все деревней выли — не разумом, не душой, а как листья от ветра шумят или солома скрипит. И тогда меня зло брало — почему они так жалобно воют, уж не люди стали, а кричат так жалобно. Надо каменной быть, чтобы слушать этот вой и свой пайковый хлеб кушать. Бывало, выйду с пайкою в поле, и слышно: воют. Пойдешь дальше, вот-вот, кажется, стихло, пройду еще, и опять слышнее становится, — это уж соседняя деревня воет. И кажется, вся земля вместе с людьми завыла. Бога нет, кто услышит?

Мне один энкаведе сказал: «Знаешь, как в области ваши деревни называют: кладбища суровой школы». Но я сперва не поняла этих слов. А погода какая стояла хорошая! В начале лета шли дожди, такие быстрые, легкие, солнце жаркое вперемешку с дождем, — и от этого пшеница стеной стояла, топором ее руби, и высокая, выше человеческого роста. В это лето радуги сколько я нагладелась, и грозы, и дождя теплого, цыганского.

Гадали все зимой, будет ли урожай, стариков спрашивали, приметы перебирали — вся надежда была на озимую пшеницу. И надежда оправдалась, а косить не смогли. Зашла я в одну избу. Люди лежат то ли еще дышат, то ли уже не дышат, кто на кровати, кто на печке, а хозяйская дочь, я ее знала, лежит на полу в каком-то беспмятстве зубами грызет ножку у табуретки. И так страшно это — услышала она, что я вошла, не оглянулась, а заворчала, как собаки ворчат, если к ним подходят когда они кость грызут.

Пошел по селу сплошной мор. Сперва дети, старики, потом средний возраст. Вначале закапывали, потом уж не стали закапывать. Так мертвые и валялись на улицах, во дворах, а последние в избах остались лежать. Тихо стало. Умерла вся деревня. Кто последним умирал, я не знаю. Нас, которые в правлении работали, в город забрали.

Попала я сперва в Киев. Стали как раз в эти дни коммерческий хлеб давать. Что делалось! Очереди по полкилометра с вечера становились. Очереди, знаешь, разные бывают — в одной стоят, посмеиваются, семечки грызут, в другой номера на бумажках списывают, в третьей, где не шутят, на ладони пишут либо на спине

мелом. А тут очереди особые — я таких больше не видела. Друг дружку обхватывают за пояс и стоят один к одному. Если кто оступится, всю очередь шатнет, как волна по ней проходит. И словно танец начинается — из стороны в сторону. И все сильнее качаются. Им страшно, что не хватит силы за передового цепляться и руки разожмутся, и от этого страха женщины кричать начинают, и так вся очередь воет, и кажется, они с ума посходили — поют да танцуют. А то шпана в очередь врывается: смотрят, где цепь легче порвать. И когда шпана подходит, все снова воют от страха, а кажется, что они поют. В очереди за коммерческим хлебом стоял народ городской — лишенцы, беспаспортные, ремесло — либо пригородные.

А из деревни ползет крестьянство. На вокзалах оцепление, все составы обыскивают. На дорогах всюду заставы — войска, энкаведе, а все равно добираются до Киева — ползут полем, целиной, болотами, лесочками, только бы заставы миновать на дорогах. На всей земле заставы не поставишь. Они уж ходить не могут, а только ползут. Народ спешит по своим делам, кто на работу, кто в кино, трамваи ходят, а голодные среди народа ползут — дети, дядьки, дивчины, и кажется, это не люди, какие-то собачки или кошечки паскудные на четвереньках. А оно еще хочет по-человечески, стыд имеет, дивчина ползет опухшая, как обезьяна, скулит, а юбку поправляет, стыдается, волосы под платок прячет — деревенская, первый раз в Киев попала. Но это счастливые доползли, один на десять тысяч. И все равно им спасения нет — лежит голодный на земле, шипит, просит, а кушать он не может, краюшка рядом, а он уже ничего не видит, доходит.

По утрам ездили платформы, битюги, собирали которые за ночь умерли. Я видела одну платформу — дети на ней сложены. Вот как я говорила — тоненькие, длинненькие, личики, как у мертвых птичек, клювики острые. Долетели эти пташки до Киева, а что толку? А были среди них — еще пищали, головки, как налитые, мотаются. Я спросила возчика, он рукой махнул: пока довезу до места — притихнут. Я видела: дивчина одна поползла поперек тротуара, ее дворник ногой ударил, она на мостовую скатилась. И не оглянулась даже, ползет быстро, быстро, старается, откуда еще сила. И еще платье отряхивает, запылилось, видишь. А я в этот день газету московскую купила, прочла статью Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки. Неужели Максим Горький не знал про тех детей, что битюги

на свалку вывозили, — им, что ли, игрушки? А может быть, он знал? И так же молчал, как все молчали. И так же писал, как те писали, — будто эти мертвые дети едят куриный суп. Мне этот ломовой сказал: больше всего мертвых возле коммерческого хлеба — сжует опухший кусочек и готов. Запомнился мне Киев этот, хоть я там всего три дня пробыла.

Вот что я поняла. Вначале голод из дому гонит. В первое время он, как огонь, печет, терзает, и за кишки, и за душу рвет, — человек и бежит из дому. Люди червей копают, траву собирают, видишь, даже в Киев прорывались. И все из дому, все из дому. А приходит такой день, и голодный обратно к себе в хату заползает. Это значит — осилил голод, и человек уж не опасается, ложится на постель и лежит. И раз человека голод осилил, его не подымешь, и не только оттого, что сил нет, — нет ему интереса, жить не хочет. Лежит себе тихо — и не тронь его. И есть голодному не хочется, мочится все время и понос, и голодный становится сонный, не тронь его, только бы тихо было. Лежат голодные и доходят. Это рассказывали и военнопленные — если ложится пленный боец на нары, за пайкой не тянется, значит, конец ему скоро. А на некоторых безумие находило. Эти уж до конца не успокаивались. Их по глазам видно — блестят. Вот такие мертвых разделявали и варили и своих детей убивали и съедали. В этих зверь поднимался, когда человек в них умирал. Я одну женщину видела, в райцентр ее привезли под конвоем — лицо человечесьё, а глаза волчьи. Их, людоедов, говорили, расстреливали всех поголовно. А они не виноваты, виноваты те, что довели мать до того, что она своих детей ест. Да разве найдешь виноватого, кого ни спроси. Это ради хорошего, ради всех людей матерей довели.

Я тогда увидела — всякий голодный, он вроде людоед. Мясо сам с себя объедает, одни кости остаются, жир до последней капельки. Потом он разумом темнеет — значит, и мозги свои съел. Съел голодный себя всего.

Еще я думала — каждый голодный по-своему умирает. В одной хате война идет, друг за другом следят, друг у дружки крохи отнимают. Жена на мужа, муж против жены. Мать детей ненавидит. А в другой хате любовь нерушимая. Я знала одну такую, четверо детей, — она и сказки им рассказывает, чтобы про голод забыли, а у самой язык не ворочается, она их на руки берет, а у самой уж силы нет пустые руки

поднять. А любовь в ней живет. И замечали люди — где ненависть, там скорей умирали. Э, да что любовь, тоже никого не спасла, вся деревня поголовно легла. Не осталось жизни.

Я узнала потом — тихо стало в деревне нашей. И детей не слышно. Там уж ни игрушек, ни супа куриного не надо. Не выли. Некому. Узнала, что пшеницу войска косили, только красноармейцев в мертвую деревню не допускали, в палатках стояли. Им объясняли, что эпидемия была. Но они жаловались, что от деревень запах ужасный шел. Войска и озимые посеяли. А на следующий год привезли переселенцев из Орловской области — земля ведь украинская, чернозем, а у орловских всегда недород. Женщин с детьми оставили возле станции в балаганах, а мужчин повели в деревню. Дали им вилы и велели по хатам ходить, тела вытаскивать — покойники лежали, мужчины и женщины, кто на полу, кто на кроватях. Запах страшный в избах стоял. Мужики себе рты и носы платками завязывали — стали вытаскивать тела, а они на куски разваливаются. Потом закопали эти куски за деревней. Вот тогда я поняла — это и есть кладбище суровой школы. Когда очистили от мертвых избы, привели женщин полы мыть, стены белить. Все сделали, как надо, а запах стоит. Второй раз побелили и полы наново глиной мазали — не уходит запах. Не смогли они в этих хатах ни есть, ни спать, вернулись в Орловскую обратно. Но, конечно, земля пустой не осталась — земля ведь какая!

И словно не жили. А многое чего было. И любовь, и жены от мужей уходили, и дочерей замуж отдавали, и дрались пьяными, и гости приезжали, и хлеб пекли... А работали как! И песни спевали. И дети в школу ходили... И кинопередвижка приезжала, самые старые, и те ходили картины смотреть.

И ничего не осталось. А где же эта жизнь, где страшная мука? Неужели ничего не осталось? Неужели никто не ответит за это все? Вот так и забудется без следа? Травка выросла.

Вот я тебя спрашиваю: как же это?

Вот видишь, и прошла наша ночка, уже светает. Пора нам с тобой на работу собираться.

Голос у Василия Тимофеевича был негромкий, движения нерешительные. Когда заговаривали с Ганной, она опускала карие глаза и отвечала едва слышно.

А после женитьбы они совсем застеснялись: он, пятидесятилетний человек, которого соседские дети называли «диду», засмутился, засовестился оттого, что седеющий, лысый, с морщинами женился на молодой девушке, счастлив своей любовью, глядя на нее шепчет: «Голубка моя... серденько мое». Когда-то ей, девчонке, представлялся будущий муж, — он и Щорс, и лучший гармонист на селе, и пишет задушевные стихи, как Тарас Шевченко. Но ее кроткое сердце понимало силу любви к ней неудачливого, бедного, всегда жившего не своей, а чужой жизнью, робкого пожилого человека. А он понимал ее молодую надежду, — вот придет сельский лыцарь и уведет ее из тесной хаты отчима... А пришел за ней он, в старых чоботах, с большими темными мужицкими руками, виновато покашливая, и вот смотрит он на нее с обожанием, счастьем, виной, горем. И она виновата перед ним, кротка, молчалива.

И сын у них, Гриша, родился тихий, никогда не заплачет, и, похожая после родов на худенькую девочку, мать иногда подходила к люльке ночью и, видя, что мальчик лежит с открытыми глазами, говорила:

— Та ты хоть поплачь трошки, Гришенька, чего ты все мовчишь та мовчишь?

И в хате муж и жена разговаривали вполголоса, а соседи удивлялись:

— Та чего це вы так тихо балакаете?

И странно — она, молодая женщина, и он, пожилой, некрасивый мужик, были очень схожи своими кроткими сердцами, своей робостью.

Работали они оба безотказно и даже вздохнуть стеснялись, когда бригадир несправедливо гнал их не в очередь в поле.

Однажды Василий Тимофеевич по наряду от колхозной конюшни поехал с председателем в райцентр, и, пока председатель ходил в райзо, райфо, он, привязав лошадей к тумбе, зашел в раймаг и купил

жене гостинец — маковников, леденцов, сушек, орешков, всего понемножку, по сто пятьдесят граммов. Когда он, войдя в хату, развязал белую хусточку, жена радостно, по-детски всплеснула руками, вскрикнула: «Ой, мамо», и Василий Тимофеевич, застеснявшись, вышел в сени, чтобы она не увидела его счастливых, плачущих глаз.

Она ему на риздво вышила узор на рубашке и так уж не узнала, что Василий Тимофеевич Карпенко в эту ночь почти не спал, подходил босыми ногами к комоду, на котором лежала рубашка, гладил ее ладонью, щупал вышитый крестиками незамысловатый узор. Он вез жену из родильного отделения районной больницы, она держала на руках ребенка, и ему казалось, что проживи он тысячу лет — он не забудет этого дня.

Иногда ему становилось жутко — мыслимое ли дело, чтобы в его жизни случилось такое счастье, мыслимо ли вот так проснуться среди ночи, прислушаться к дыханию жены и сына.

Разве тихая, робеющая перед всеми людына имела право на такое дело?

Но вот так оно было. Он шел с работы к дому и видел пеленочку, сохнувшую на плетне, и дымок из трубы. Он смотрел на жену — она наклонилась над люлькой, ставит на стол тарелку борща и улыбается чему-то, он глядит на ее руки, на волосы, выбившиеся из-под хустки, он слушает, что говорит она о немовлятке, о соседней овце. Иногда она выходила в сени, и он скучал, даже тосковал, ожидая ее, а когда она возвращалась — он радовался, и она, уловив его взгляд, кротко и грустно улыбалась ему.

Василий Тимофеевич умер первым, опередив на два дня маленького Гришу. Он отдавал почти все крохи еды жене и ребенку и потому умер раньше их. Вероятно, в мире не было самопожертвования выше того, что проявил он, и отчаяния больше того, что пережил он, глядя на обезображенную смертным отеком жену и умирающего сына.

Ни упрека, ни гнева к великому и бессмысленному делу, что совершали государство и Сталин, не испытал он до последнего своего часа. Он даже не задал вопроса: «За что?», за что ему и его жене, кротким, покорным, трудолюбивым, и тихому годовалому мальчику определена мука голодной смерти.

Перезимовали скелеты в истлевшем тряпье вместе — муж, молодая жена, их маленький сын, бело улыбались, не разлученные после смерти.

Потом уж, весной, когда прилетели скворцы, зашел в хату, прикрывая рот и нос платком, уполномоченный земельного отдела, оглядел керосиновую лампочку без стекла, образок, комодик, холодные чугуны, кровать и сказал:

— Тут двое и малэ.

Бригадир, стоя на пресвятом пороге любви и кротости, кивнул, сделал пометку на клочке бумаги.

Выйдя на воздух, уполномоченный посмотрел на белые хаты, на зеленые садки, сказал:

— После того как уберете трупы, восстанавливать ось эту развалюху нема смысла.

И бригадир вновь кивнул.

На службе Иван Григорьевич слышал рассказы о том, что в горсуде берут взятки, что в радиотехникуме можно купить отметки для ребят, державших конкурсные экзамены, что директор завода отпускает за взятки остродефицитный металл артелям, производящим ширпотреб, что зав-мельницей построил себе двухэтажный дом на краденые деньги, застелил в нем полы дубовым паркетом, что начальник милиции отпустил на волю знаменитого воротилу ювелира, взяв с его родных невероятную взятку в шестьсот тысяч рублей, что даже отец и хозяин города — первый секретарь горкома — может за мзду приказать председателю горсовета выдать ордер на квартиру в новом доме на главной улице.

С утра инвалиды волновались. Стало известно пришедшее из области заключение по делу кладовщика самой богатой в городе артели «Мехпошив». Артель изготавливала шубы, зимние дамские пальто, пыжиковые и каракулевые шапки. И хотя главным обвиняемым по делу оказался скромный кладовщик, дело было грандиозное — оно, подобно осьминогу, опутало жизнь и труд большого города. Этого заключения ждали давно, и по поводу него обычно шли споры во время обеденного перерыва. Одни говорили, что приехавший из Москвы в область следователь по особо важным делам не побоится обнародовать причастность к делу всего городского начальства.

Ведь даже детям было известно, что городской прокурор ездит в подаренной ему плешивым заикой кладовщиком «Волге», что секретарю горкома привезли из Риги подаренную кладовщиком мебель — спальный и столовый гарнитуры, что жена начальника милиции, иждивением артельного кладовщика, на самолете отправилась в Адлер, где два месяца жила в санатории Совета Министров, и что в день отъезда ей было подарено кольцо с изумрудом.

Другие, скептики, говорили, что москвич не решится поднять дело против хозяев города и вся тяжесть удара придется по кладовщику и правлению артели.

И вот прилетевший из области на самолете студент, сын кладовщика, привез неожиданную новость: следователь по особо важным делам прекратил дело за отсутствием состава преступления,

кладовщик освобожден из-под стражи, подписка о невыезде, взятая у председателя и двух членов правления артели, аннулирована.

Почему-то решение сановного московского юриста рассмешило и развеселило всех людей в артели — и скептиков, и оптимистов. В обеденный перерыв инвалиды ели хлеб, колбасу, помидоры и огурцы, смеялись и шутили — их веселила человеческая слабость следователя по особо важным делам, их смешило всемогущество плешивого заика кладовщика.

Ивану Григорьевичу подумалось, что путь, начавшийся с бессребреников, босых апостолов и фанатиков коммуны, не так уж случайно привел в конце концов к людям, готовым на многие плутни ради богатой дачи, собственного автомобиля, кубышки с деньгами.

Вечером, после работы, Иван Григорьевич зашел в поликлинику и прошел в кабинет врача, чье имя слышал от Анны Сергеевны. Врач, уже закончив прием, снимал с себя халат.

— Я хотел узнать, доктор, о состоянии Михалевой, Анны Сергеевны.

— А кто вы ей, муж, отец? — спросил доктор.

— Нет, не родственник, но она близкий мне человек.

— А, — сказал доктор, — что ж, могу сообщить вам, что у нее рак легкого. Тут не поможет ни хирург, ни курорт.

Прошло три недели, и Анну Сергеевну положили в больницу.

Прощаясь, она сказала Ивану Григорьевичу:

— Видно, не судьба нам на этом свете быть счастливыми.

Днем, в отсутствие Ивана Григорьевича, приехала сестра Анны Сергеевны и увезла в деревню Алешу.

Иван Григорьевич пришел в пустую комнату. Тихо было в ней. Казалось, что, прожив всю жизнь одиноко, он только в этот вечер по-настоящему ощутил одиночество.

Ночью он не спал, думал. Не судьба... Одно лишь далекое детство казалось ему светлым.

Теперь, когда счастье ему посмотрело в глаза, дохнуло на него, он со всей остротой измерил жизнь, что досталась ему.

Очень велика была боль от сознания своей беспомощности, от невозможности спасти Анну Сергеевну, облегчить подступившие к ней последние муки. И, странно, казалось, он находил успокоение своего горя, думая о прожитых лагерных и тюремных десятилетиях.

Он думал о них, старался понять правду русской жизни, связь прошлых и нынешних времен.

Он надеялся, что Анна Сергеевна вернется из больницы и он расскажет ей все то, что вспомнил, все, что продумал, все, что понял.

И она разделит с ним тяжесть и ясность понимания. В этом было утешение его горя, его любовь.

Иван Григорьевич часто вспоминал месяцы, проведенные во Внутренней тюрьме, а затем в Бутырке.

Он побывал в Бутырской тюрьме трижды, но особенно запомнилось ему лето 1937 года — он находился тогда в тумане, полубеспамятстве, и только теперь, спустя семнадцать лет, туман этот рассеялся — он стал различать происшедшее.

Камеры тридцать седьмого года были переполнены, — там, где должны были помещаться десятки заключенных, помещались сотни. В июльской и августовской духоте мокрые от пота, одуревшие люди лежали на нарах, плотно прижавшись один к одному: повертываться ночью с боку на бок можно было лишь по команде старосты — кавалерийского начдива — всем сразу. К параше шагали по телам, — у самой параша спали на полу новички, их называли «парашютистами». Сон в этой чудовищной духоте и тесноте походил на беспамятство, обморок, сыпнотифозный бред.

Казалось, стены тюрьмы дрожали, как стены котла, распираемого огромным внутренним давлением. Всю ночь напролет гудела бутырская жизнь. Во дворе шумели легковые машины, шла доставка новых, мертвенно-бледных арестованных, они оглядывали великое тюремное царство, ревели огромные черные вороны, увозившие из тюрем на допросы на Лубянку подследственных, на пересылку в Краснопресненскую тюрьму, в пыточное Лефортово, на погрузку в сибирские эшелоны. Этим конвойные кричали: «С вещой!», и товарищи прощались с ними. В залитых ярким электричеством коридорах шаркали арестантские ноги, звякало оружие конвоиров, — при встрече арестованных одного из них торопливо запихивали в стенной шкаф-бокс, и он стоял в темноте, переживал.

Окна камер были забиты толстыми деревянными щитами, свет снаружи проникал через узкую щель, время суток определялось не по солнцу и звездам, а по тюремному распорядку. Электричество горело круглосуточно, беспощадно ярко, казалось, что пыточная духота и жар шли от белого налива электроламп. День и ночь гудел вентилятор, но знойный воздух асфальтового июля не приносил облегчения людям. Ночью воздух горячим войлоком набивал легкие, череп.

Под утро в камеры возвращались люди с ночных допросов, в изнеможении валились на нары, одни всхлипывали, стонали, другие неподвижно сидели, глядя широкими глазами перед собой, третьи растирали опухшие ноги, лихорадочно рассказывали. Некоторых приволакивали в камеру конвоиры. А некоторых, чей непрерывный допрос длился многосуточно, уносили на носилках в тюремную больницу. В кабинете следователя мысль о душной, зловонной камере казалась сладостной, с тоской вспоминались милые, измученные лица соседей по нарам.

Все эти десятки, тысячи, десятки тысяч людей, секретари райкомов и обкомов, военные комиссары, начальники политотделов, директора заводов и совхозов, командиры полков, дивизий, командармы, капитаны кораблей, агрономы, писатели, зоотехники, внешторговцы, инженеры, послы, красные партизаны, прокуроры, председатели завкомов, профессора — выражали все разнообразие поднятых революцией слоев жизни. Рядом с русскими тут были белорусы, украинцы, литовские и украинские евреи, армяне, грузины, медлительные латыши, поляки, обитатели среднеазиатских республик. В революцию и на гражданскую войну пошли они солдатами, рабочими, крестьянами, недоучившимися студентами и гимназистами, покинувшими свое ремесло мастеровыми. Они разгромили армии Корнилова и Каледина, Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля и широкими потоками хлынули с окраин в глубь разоренной российской пустыни. Революция уничтожила процентную норму, имущественный ценз и дворянские привилегии, смела черту оседлости, и сотни тысяч людей — крестьян, рабочих, мастеровых, студентов, молодежь из вологодских деревень и еврейских местечек — стали заправлять в ревкомах, в уездных и губернских чрезвычайных комиссиях, в укомах, в совнархозах, утопах, губпродкомах, политпросветах, в комбедах. Началось строительство нового, невиданного миром государства. Жертвы, жестокости, лишения, все было нипочем, — они совершались во имя России и трудового человечества, во имя счастья трудового люда.

Пришли тридцатые годы, и юноши, участники гражданской войны, стали сорокалетними людьми, волосы их засеребрились. Для них время революции, комбедов, первого и второго конгрессов Коминтерна было молодым, счастливым, романтическим временем их

жизни. Они сидели в кабинетах, с телефонами и секретарями, они сменили гимнастерки на пиджаки и галстуки, они ездили в автомобилях, получили вкус к хорошему вину, к Кисловодску, к знаменитым врачам, и все же пора буденовок, кожаных курток, пшена, рваных сапог, планетарных идей и мировой коммуны осталась высшей порой их жизни. Не ради своих дач, легковых автомобилей строили они новое государство. Оно строилось ради революции. И во имя революции, и новой, без помещиков и капиталистов, России приносились жертвы, совершались жестокости и насилия.

Конечно, поколение советских людей, ушедшее в 1936 и 1939 годах, не было монолитно.

Первыми под удар попали фанатики, разрушители старого мира. Их пафос, их фанатизм, их преданность революции были в ненависти к ее врагам.

Они ненавидели буржуазию, дворянство, мещан, обывателей, предателей рабочего класса — меньшевиков и социалистов-революционеров, крепких мужичков, оппортунистов, военспецов, продажное буржуазное искусство, продающуюся буржуазии профессуру, франтов в галстуках, врачей занимающихся частной практикой, женщин, пудривших носы и щеголявших в шелковых чулках, студентов-белоподкладочников, попов, раввинов, инженеров, носивших фуражку с кокардой, поэтов, подобно Фету, пишущих растленные стишки о красоте природы, они ненавидели Каутского, Макдональда; они не читали Бернштейна, но он им казался ужасен, хотя их судьба вторила его словам: цель — ничто, движение — все.

Они разрушали старый мир и жаждали нового, но сами не строили его. Сердца этих людей, заливших землю большой кровью, так много и страстно ненавидевших, были детски беззлобны. Это были сердца фанатиков, быть может, безумцев. Они ненавидели ради любви.

Они стали динамитом, которым партия разрушала старую Россию, расчищая простор для котлованов новых строек, для гранита великой государственности.

А рядом с динамитчиками встали первые строители. Их пафос был обращен на создание партийного государственного аппарата, на создание фабрик и заводов, прокладывание железных и шоссейных дорог, рытье каналов, механизацию нового сельского хозяйства.

Это были первые красные купцы, зачинщики советского чугуна, ситца, самолетов. Они, не ведая дня и ночи, сибирской стужи и зноя Каракумов, закладывали котлованы и возводили стены небоскреба.

Гвахария, Франкфурт, Завенягин, Гугель...

Считанные из них умерли своей смертью.

Рядом с ними работали партийные лидеры, создатели и управители национальных советских республик, краев, областей — Постышев, Киров, Варейкес, Бетал Калмыков, Файзулла Ходжаев, Мендель Хатаевич, Эйхе...

Ни один из них не умер своей смертью.

Это были яркие люди: ораторы, книжники, знатоки философии, любители поэзии, охотники, бражники.

Их телефоны звенели круглосуточно, их секретари работали в три смены, но в отличие от фанатиков и мечтателей они умели отдыхать — знали толк в просторных, светлых дачах, в охоте на кабанов и горных коз, в веселых многочасовых воскресных обедах, в армянском коньяке и грузинских винах. Они уж не ходили зимой в рваных кожанках, и габардин их солдатских, сталинских гимнастеров стоил дороже английского сукна.

Всех их отличала энергия, воля и полная бесчеловечность. Все они — и поклонники природы, и любители поэзии и музыки, и весельчаки — были бесчеловечны.

Им было ясно, что новый мир строится ради народа. Их не смущало, что среди препятствий, мешавших построению нового мира, наиболее жестокие оказались в самих рабочих, крестьянах, интеллигенции.

Иногда казалось, что именно на то, чтобы заставить человека работать через силу, сверхурочно, без выходных, жить впроголодь, спать в бараках, получать нищенскую плату, оплачивая при этом невиданные в истории косвенные налоги, займы, разверстки, обложения, и уходит могучая энергия, несгибаемая воля и не знающая предела жестокость вожаков нового мира.

Но человек строил то, что не было нужно человеку, — бесполезны были ему Беломорско-Балтийский канал, арктические рудники, заполярные железные дороги, сверхтяжелые, запрятанные в тайге заводы, сверхмощные гидростанции, возникшие в таежном безлюдье. Часто казалось, что и государству, не только людям, бесполезны эти

заводы, пустынные моря и каналы. Иногда казалось, что эти могучие стройки нужны лишь для того, чтобы оковать тяжким трудом миллионные массы людей.

Маркс, величайший марксист Ленин, великий продолжатель их дела Сталин первой истиной революционного учения полагали примат экономики над политикой.

И никто из строителей нового мира не задумался над тем, что, строя бесполезные для людей, а часто и для государства огромные тяжелые заводы, они опрокидывают Марксов тезис.

В основе государства, заложенного Лениным и построенного Сталиным, лежала политика, а не экономика.

Политика определяла содержание сталинских пятилеток, план великих работ. Политика безраздельно торжествовала над экономикой во всех действиях Сталина, его Совнаркома, его Госплана, его Наркомтяжпрома, его наркомата сельского хозяйства, комитета заготовок, его Наркомторга.

Строители не считали, как в пору гражданской войны, что свершается Мировая революция, Всемирная Коммуна. Но они верили, что социализм, построенный в одной стране, в молодой, новой России, есть заря всемирного социалистического дня.

Но вот пришел 1937 год, и тюрьмы заполнились сотнями тысяч людей, принадлежащих к поколению революции и гражданской войны. Это они отстаивали Советское государство, они были отцами его и в то же время и детьми его. Но тюрьмы, которые они строили для врагов новой России, открылись перед ними, грозная мощь созданного ими строя обрушилась на них самих, карающая сила диктатуры, меч революции, откованный ими, пал на их головы. Многим из них показалось, что пришла пора хаоса безумия.

Зачем вымогали у них признания в не совершенных ими преступлениях, объявили их врагами народа, изолировали их от той самой жизни которую они построили и отстаивали в боях?

Им казалось безумием, что их приравнивали к тем, кого они ненавидели и презирали, кого сами с жестоким фанатизмом истребляли, как бешенных собак.

Они попали в камеры и лагерные бараки с не добытыми ими меньшевиками, с бывшими фабрикантами и помещиками.

Некоторым казалось, что совершился государственный переворот, что власть захвачена врагами и враги, пользуясь советским языком и советскими понятиями, расправляются с теми, кто задумал и построил Советское государство.

Случалось, что рядом лежали на тюремных нарах — секретарь райкома, разоблаченный враг народа, и разоблачивший его новый секретарь райкома, вскоре сам оказавшийся врагом народа; а спустя месяц в камеру попадал третий, тот секретарь райкома, что разоблачил второго и сам был разоблачен как враг. Все смешалось — грохот и лязг колес идущих на север эшелонов, лай служебных собак, скрип сапог и легких женских туфель по хрусткому таежному снегу, скрип следовательских перьев, скрип лопат по смерзшейся земле, копавших ямы для захоронения умерших от цинги, от разрыва сердца, замерзших; покаянные речи тех, кто просил снисхождения на партийных собраниях и белыми, мертвыми губами повторял вслед за следователем: «Признаю, что, сделавшись платным агентом иностранной разведки, я, руководимый звериной ненавистью ко всему советскому, подготовлял террористические акты против деятелей Советского государства, снабжал шпионскими сведениями...»

Приглушенный бутырским и лефортовским камнем доносился непрерывный треск винтовочных и пистолетных выстрелов, девять граммов свинца в грудь либо в затылок тем тысячам и десяткам тысяч невинных, кого изобличили в особо злостных террористических и шпионских деяниях.

На свободе строители нового мира гадали: «Возьмут, не возьмут?» Все ждали ночного звонка, шороха автомобильных колес, вдруг затихшего у ворот дома.

В хаосе, нелепице, в безумии ложных обвинений уходило поколение гражданской войны, шло новое время, выходили новые люди...

Лева Меклер, Лев Наумович... На воле он носил ботинки сорок пятого размера, москвошвеевский костюм пятьдесят восьмого размера. И статья у него была пятьдесят восьмая, пункты: измена родине, террор, диверсия, ну и там еще мелочь.

Его не расстреляли, вероятно, потому, что сел он одним из самых первых, когда еще не было такой свободы в исполнении смертных приговоров.

Он прошел, близоруко и рассеянно щурясь, спотыкаясь, по всем кругам тюремного и лагерного ада, и не погиб потому, что огонь веры, сжигавший с отроческих лет его нутро, охранил его от ночного сорокаградусного мороза и лютого ветра, от дистрофии и цинги; он не погиб, когда затонула на Енисее баржа, набитая заключенными; он не умер от кровавого поноса.

Его не зарезали уголовные, не замучили в карцере, не забил его на допросе оперуполномоченный. Его не расстреляли во время массовой чистки, когда стреляли десятого.

Откуда в нем, сыне печального и лукавого лавочника из местечка Фастов, ученике коммерческого училища, читавшего книги «Золотой библиотеки» и Луи Буссенара, откуда в нем этот могучий пламень фанатизма? Ни он, ни отец его не копили ненависть к капитализму ни в шахтах, ни в дымных и пыльных фабричных цехах.

Кто вложил в него душу борца? Пример Желябова и Каляева, мудрость «Коммунистического Манифеста», страдания жившей рядом с ним бедноты?

Или это тяжкое пламя, эти угли таились в тысячелетней бездне наследственности, готовые вспыхнуть в борьбе с солдатами римского цезаря, с кострами испанской инквизиции, в голодном исступлении талмудторы, в местечковой самообороне во время погрома?

Может быть, вековая цепь унижений, тоска вавилонского пленения, унижение гетто и нищета черты еврейской оседлости породили и выковали исступленную жажду, раскалившую душу большевика Льва Меклера?

Его неприспособленность к земной жизни вызывала насмешку и преклонение. Некоторым он казался святым — комсомольский вожак в

рваных сандалиях, в ситцевой рубашке с открытым воротом, без шапки, заросший курчавым волосом; комиссар боевого полка, в рваной кожанке, в буденовке с выцветшей, бледной, точно от потери крови, красной звездой. И такой же оборванный, небритый, зимой в плаще с оборванными пуговицами, он, ведающий украинской юстицией, выходил из автомобиля, шел в свой наркомовский кабинет.

Он казался беспомощным, не от мира сего, но люди помнили, как его молитвенно слушали на буйных фронтовых митингах, как шли за ним под огнем врангелевских пулеметов.

Он был проповедником, апостолом и бойцом всемирной социалистической революции. Ради революции он, не колеблясь, был готов отдать свою жизнь, любовь женщины, всех близких своих. Одного лишь он не мог бы отдать — счастья, пожертвовав ради революции всем, чем дорожит человек на земле, взойдя ради нее на костер, он был бы счастлив.

Грядущее мировое царство казалось ему бесконечно прекрасным, и ради него Меклер готов был на самое беспощадное насилие.

Сам он по природе своей был человеком добрым, комара, сосавшего его кровь, он не хлопал ладонью, а деликатным щелчком сгонял с руки. Клопа, пойманного на месте преступления, он заворачивал в бумажку и выносил на улицу.

Его служба добру и революции была отмечена кровью и беспощадностью к страданию.

Он, в своей революционной принципиальности, засадил в тюрьму отца, дал против него показания на коллегии губчека. Он жестоко и хмуро отвернулся от сестры, просившей защиты для своего мужа-саботажника.

Он в кротости своей был беспощаден к инакомыслящим. Революция казалась ему беспомощной, детски доверчивой, окруженной вероломством, жестокостью злодеев, грязью растлителей.

И он был беспощаден к врагам революции.

На его революционной совести было одно лишь пятно — тайно от партии он помогал старухе матери, вдове расстрелянного карательными органами человека, и, когда она умерла, дал денег на ее похороны по религиозному обряду — такова была ее последняя жалкая воля.

Его словарь, мышление, поступки имели своим истоком книги, написанные во имя революции, революционное право, революционную мораль, поэзию революции и ее стратегию, поступь ее солдат, ее прозрения, ее песни.

Ее глазами смотрел он на звездное небо и на апрельскую листву берез, из сладчайшей чаши ее пил он прелесть первой любви, в ее мудрости познавал он борьбу патрициев и рабов, феодалов и крепостных, классовые битвы заводчиков и пролетариев. Она была матерью, нежной возлюбленной его, его солнцем, его судьбой.

И вот революция посадила его в камеру внутренней тюрьмы, выбила ему восемь зубов, стуча на него офицерскими сапогами, матерясь, обзывая его пархатым, требовала, чтобы он, сын, возлюбленный и апостол ее, признал себя ее тайным отравителем, ее смертным ненавистником.

Конечно, он не отрекся от нее, не дрогнула даже на миг его вера на сточасовых допросах, не дрогнула, и когда, лежа на полу, он видел начищенный, блестящий носок хромового сапога у своего окровавленного рта.

Груба, тупа, жестока была на этих многосуточных, пыточных допросах революция, неистовство вызывали в ней верность и кроткое терпение большевика Льва Меклера.

Вот так приходит в бешенство хозяин, желающий отогнать неотступно следующую за ним дворнягу. Он сперва ускоряет шаги, потом кричит на нее и топает ногами, потом замахивается на нее, швыряет в нее камнями. Она отбегает, останавливается, а когда хозяин, пройдя сотню шагов, оглядывается, он видит, как неотступно и неизменно, торопливо прихрамывая, ковыляет за ним искалеченная собака.

И самым отвратительным и ненавистным для хозяина в ней были ее собачьи глаза: кроткие, грустные, любящие, фанатически преданные.

Эта любовь вызывала ярость хозяина, собака видела эту ярость и не могла понять, почему она. Она не могла понять, что, совершая в отношении ее невиданную миром несправедливость, хозяин хотел хоть немного успокоить свою совесть. Ее кротость, ее преданность доводили его до умопомрачения, он ненавидел ее за эту любовь

больше, чем волков, от которых собака обороняла дом его молодости. Грубостью он хотел заглушить ее любовь.

Она шла за хозяином, потрясенная его внезапной, необъяснимой жестокостью.

За что? За что?

И она не могла понять, что в этой внезапной ненависти, обращенной к ней, нет бессмысленности, а все действительно и разумно.

В ненависти проявлялась закономерность, ясная, математическая логика. А собаке казалось, что это наваждение, нелепая бессмыслица, ей даже страшно делалось за хозяина, и она хотела избавить его от помрачения не ради себя, а ради него. Она не могла уйти от него, ведь она его любила.

А он уже понимал, что она не отстанет, он уже знал, что остается лишь одно: придушить ее, пристрелить.

И чтобы казнь обожавшей его, молившейся на него собаки не давила на его совесть и не вызывала осуждения соседей, хозяин решил искусственно превратить ее в своего врага — пусть собака перед смертью признается, что хотела загрызть его — хозяина.

Убить врага легче, чем убить друга.

Ведь в том, первом его доме, что он построил среди угрюмых и пустынных развалин, в доме, где был он молод, в доме его чистых молитв, она была его другом, стражем, неотступным спутником.

Так пусть же признается собака, что она снюхалась с волками.

И при последних смертных хрипах своих, удавленная веревкой, она смотрела на хозяина с кротостью и любовью, с верой, равной той, что вела на смерть первых мучеников — христиан.

И она так и не поняла простой вещи — хозяин покинул свой молодой дом хмеля и молитвы, переехал в дом гранита и стекла, и сельская дворняга стала ему нелепа, стала обузой, да не только обузой, стала вредна ему. И он убил ее.

Прошли годы, улеглись туман и пыль, мешавшие разглядеть то, что совершалось. То, что представлялось хаосом, безумием, самоистреблением, стечением нелепых случайностей, то, что своей таинственной, трагической бессмысленностью сводило людей с ума, постепенно стало обозначаться, как четкие, ясные и выпуклые черты новой жизни, новой деятельности.

Судьба поколения революции начала раскрываться по-новому, логически, а не мистически. Только теперь Иван Григорьевич стал охватывать умом новую судьбу страны, рожденную на костях погибшего поколения.

Это большевистское поколение сформировалось в дни революции, в пору гегемонии идей мировой коммуны, голодных вдохновенных субботников. Оно приняло на себя наследство мировой и гражданской войны — разруху, голод, сыпной тиф, анархию, бандитизм; оно устами Ленина заявило, что есть партия, способная вывести Россию на новый путь. Оно приняло, не поколебавшись, на себя наследство сотен лет русского произвола, при котором десятки поколений рождались и уходили, зная лишь одно право — крепостное.

Большевистское поколение времен гражданской войны участвовало под водительством Ленина в разгроме Учредительного собрания и в уничтожении революционно-демократических партий, боровшихся против русского абсолютизма.

Большевистское поколение гражданской войны не верило в ценность свободы личности, свободы слова и печати в рамках буржуазной России.

Оно, как и Ленин, считало куцыми, ничтожными те свободы, о которых мечтали многие революционные рабочие и интеллигенция.

Молодое государство сокрушило демократические партии, расчищая дорогу для советского строительства. В конце двадцатых годов эти партии были полностью ликвидированы, люди, сидевшие при царе в тюрьмах, вновь ушли в тюрьмы, пошли на каторгу.

В тридцатом году поднялся топор всеобщей коллективизации.

Но вскоре топор поднялся вновь. На этот раз удар пришелся по поколению гражданской войны. Малая часть этого поколения

сохранилась, но душа его, его вера в мировую коммуну, его революционная романтическая сила ушли с теми, кто был уничтожен в 1937 году. Те, что остались и продолжали жить и работать, пристраивались к новому времени, к новым людям.

Новые люди не верили в революцию, они не были детьми революции, они были детьми созданного ею государства.

Новому государству не нужны стали святые апостолы, исступленные, одержимые строители, верующие последователи. Новому государству даже не слуги стали нужны, а всего лишь служащие. И тревога государства состояла в том, что его служащие иногда оказывались очень уж мелким, к тому же жуликоватым народцем.

Террор и диктатура поглотили своих создателей. И государство, казавшееся средством, оказалось целью! Люди, создавшие это государство, думали, что оно средство осуществления их идеала. А оказалось, что их мечты, идеалы были средством великого и грозного государства. Государство из слуги превратилось в угрюмого самодержца. Не народу нужен был террор в девятнадцатом году, не народ уничтожил свободу печати и слова, не народу понадобилась гибель миллионов крестьян, крестьяне и есть большая часть народа, не народ набил тюрьмы и лагеря в 1937 году, не народу понадобились истребительные высылки в тайгу крымских татар, калмыков, балкарцев, обрусевших болгар и греков, чеченцев и немцев Поволжья, не народ уничтожил свободу сеять, право на рабочую стачку, не народ совершил чудовищные накладки на себестоимость товаров.

Государство сделалось хозяином, национальное из формы перешло в содержание и стало сутью, изгнало социалистическое в оболочку, в фразеологию, в шелуху, во внешнюю форму. С трагической очевидностью определился святой закон жизни: свобода человека превыше всего; в мире нет цели, ради которой можно принести в жертву свободу человека.

И странно было. Думая о тридцать седьмом годе, думая о женщинах, посланных в каторгу за мужей, вспоминая сплошную коллективизацию и голод в деревне, думая о законах, карающих рабочих тюрьмой за двадцатиминутное опоздание, карающих крестьян восьмилетним лагерем за сокрытие нескольких колосков, Иван Григорьевич не вспоминал усатого человека в сапогах и гимнастерке.

Ленин! Словно бы жизнь его не оборвалась 21 января 1924 года.

Мысли свои о Ленине, о Сталине Иван Григорьевич иногда записывал в оставленной Алешей ученической тетрадке.

Все победы партии и государства связаны с именем Ленина. Но и все жестокое, что совершалось в стране, трагическим образом принимал на свои плечи Владимир Ильич.

Его революционной страстью, его речами, статьями, его призывами подтверждались и события в деревне, и 1937 год, и новое чиновничество, и новое мещанство, и труд заключенных.

И постепенно, с годами, словно исподволь менялись черты ленинского лица, менялся облик студента Володи Ульянова, молодого марксиста Тулина, сибирского ссыльного, революционера-эмигранта, публициста, мыслителя Владимира Ильича Ленина, облик человека, провозгласившего эру мировой социалистической революции, создателя революционной диктатуры в России, ликвидировавшего все революционные партии, кроме одной, казавшейся ему самой революционной, ликвидировавшего Учредительное собрание, представлявшее от всех классов и партий послереволюционной России, и создавшего Советы, где, по его мысли, представляли одни лишь революционные рабочие и крестьяне. Менялись ленинские черты, знакомые по портретам, менялся облик первого председателя Советского правительства Владимира Ильича Ульянова — Ленина.

Ленинское дело продолжалось, и облик умершего Ленина невольно обогащался теми чертами, которыми обогащалось начатое им дело.

Он был интеллигентом, он вышел из трудовой интеллигентной семьи, его сестры, его братья, были трудовыми революционными

интеллигентами, его старший брат, Александр, народоволец, стал героем и святым мучеником революции.

Авторы воспоминаний говорят о том, что, уже будучи вождем революции, создателем партии, главой Советского правительства, он был неизменно прост. Он не курил и не пил, наверное, ни разу в жизни не обругал он человека нецензурным матерным словом. Его досуг, отдых были по-студенчески чисты — музыка, театр, книга, прогулка. Его одежда была неизменно демократична, почти бедна.

Неужели вот он, что в мятом галстуке и в стареньком пиджаке ходил в театр на галерку, слушал «Аппассионату», читал и перечитывал «Войну и мир», он, милый сердцу матери, любимый сестрами, Володя, стал основоположником государства, украсившим высшим орденом своим — орденом Ленина — грудь Ягоды, Ежова, Берию, Меркулова, Абакумова.

Награждение Лидии Тимашук орденом Ленина состоялось в годовщину смерти Владимира Ильича — свидетельствовало ли оно, что ленинское дело иссякло или, наоборот, что дело его торжествует?

Шли годы пятилеток, шли десятилетия, огромные события, полные раскаленной современности, дымясь, застывали глыбами, схваченные цементом времени, обращались в историю Советского государства.

...Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет:

Понимал ли поэт трагический смысл того, что написал о Ленине? Отмеченные биографами и воспоминателями черты его характера, казавшиеся основными, чаровавшие миллионы сердец и умов, оказались случайными для хода истории; история государства российского не отобрала эти человеческие и человеческие черты характера Ленина, а отбросила их как ненужный хлам. Истории государства не понадобились ни ленинское слушание «Аппассионаты» с ладонью, приложенной к глазам, ни преклонение перед «Войной и миром», ни скромный ленинский демократизм, ни его сердечность и внимательность к малым сим, секретарям, шоферам, ни его разговоры с крестьянскими детьми, ни его милое отношение к домашним

животным, ни его сердечная боль, когда Мартов из друга превратился во врага.

А все, вынесенное за скобки, как временное, случайное, возникшее в силу особых обстоятельств подполья и ожесточения борьбы первых советских лет, оказалось непреходящим, определяющим.

Вот та самая черта ленинского характера, не отмеченная воспоминателями, которая определила указание произвести обыск у умирающего Плеханова, те черты, которые определили полную нетерпимость к политической демократии, они-то и развились.

Заводчик, купец, вышедший из мужиков, живя в своем особняке, путешествуя на собственной яхте, сохраняет черты своего крестьянского характера — любовь к кислым щам, к квасу, к грубому меткому народному слову. Маршал, в расшитом золотом мундире, хранит любовь к махорочной самокрутке, помнит простой юмор солдатских изречений.

Но значат ли эти черты и память в судьбах заводов, в жизни миллионов людей, связанных трудом и судьбой с заводами, движением акций и движением войск?

Не любовью к щам и махорочной самокрутке завоевывается капитал и слава генералов.

Одна из воспоминательниц описывает, как в Швейцарии отправилась в горы на воскресную прогулку с Владимиром Ильичом. Задыхаясь от крутого подъема, поднялись они на вершину, уселись на камне. Казалось, взгляд Владимира Ильича впитывал каждую черточку горной альпийской красоты. Молодая женщина с волнением представляла себе, как поэзия наполняет душу Владимира Ильича. Вдруг он вздохнул и произнес: «Ох, и гадят нам мешьшевики».

Это милый эпизод сказал кое-что о натуре Ленина: вот на одной чаше весов божий мир, вот на второй чаше партийное дело.

Октябрь отобрал те черты Владимира Ильича, которые понадобились ему, Октябрю, отбросил ненужные.

На протяжении истории русского революционного движения черты народолюбия, присущие многим русским революционным интеллигентам, чья кротость и готовность на муку не имели, кажется, себе равных со времен древнего христианства, смешались с чертами прямо противоположными, но также присущими многим русским

революционным преобразователям — презрением и неумолимостью к человеческому страданию, преклонением перед абстрактным принципом, решимостью истреблять не только врагов, но и своих товарищей по делу, едва они хоть в чем-нибудь отойдут от понимая этих абстрактных принципов. Сектантская целеустремленность, готовность подавлять живую, сегодняшнюю свободу ради свободы измышленной, нарушать житейские принципы морали ради принципа грядущего давали о себе знать в характере Пестеля, и в характере Бакунина, и Нечаева, и в некоторых высказываниях и поступках народовольцев.

Нет, не только любовь, не одно лишь сострадание вели подобных людей путем революции. Истоки этих характеров лежат далеко, далеко в тысячелетних недрах России.

Подобные характеры существовали и в прежние века, но двадцатый век вывел их из-за кулис на главную сцену жизни.

Этот характер ведет себя среди человечества, как хирург в палатах клиники, — его интерес к больным, их отцам, женам, матерям, его шутки, его споры, его борьба с детской беспризорностью и забота о рабочих, достигших пенсионного возраста, — все это пустяковина, мура, шелуха. Душа хирурга в его ноже.

Суть подобных людей — в фанатической вере в всеилие хирургического ножа. Хирургический нож — великий теоретик, философский лидер двадцатого века.

На протяжении своей пятидесятичетырехлетней жизни Ленин не только слушал «Аппassionату», перечитывал «Войну и мир», вел душевные беседы с крестьянами-ходоками, тревожился, есть ли у секретаря зимнее пальто, любовался русской природой. Да, да, конечно, помимо образа есть и лицо.

И можно себе представить множество черт и особенностей Ленина, проявлявшихся в обыденной жизни, той, что неминуема для всех людей, — вожди они народов, врачи-стоматологи, закройщики в мастерских дамского платья.

Эти черты проявляются в разное время суток, когда человек моет утром лицо, ест кашу, смотрит в окно на хорошенькую женщину, которой ветер задрал юбку, ковыряет в зубах спичкой, ревнует жену и вызывает ревность жены, рассматривает в бане свои голые ноги и чешет подмышки, читает в уборной обрывки газет, стараясь составить

порванные куски, издает неприличный звук и в целях маскировки кашляет и напевает.

Подобные либо сходные вещи существуют в жизни великих и малых людей, очевидно, существовали и в жизни Ленина.

Может быть, брюшко у Ленина возникло оттого, что он объедался макаронами с маслом, предпочитал их овощной пище.

Может быть, у него были неизвестные миру столкновения с Надеждой Константиновной по поводу мытья ног, чистки зубов и нежелания менять ношеную сорочку с засаленным воротничком.

И вот можно, прорвавшись сквозь редуты, создающие якобы человеческий, а в действительности совершенно условный, возвышенный образ вождя, перебежками, по-пластунски ползком добраться до простого, истинного естества Ленина, того, которое никем из воспоминателей никогда не упоминается.

Но что даст познание истинных, житейских, тайных, скрытых от истории черт и особенностей поведения Ленина в ванной комнате, спальне, столовой? Поможет ли это глубже понять лидера новой России, основоположника нового мирового порядка? Свяжет ли это истинной связью характер Ленина с характером основанного им государства? Для этого необходимо сделать допущение, что черты Ленина — политического лидера эквиваленты житейским чертам Ленина. Но подобное допущение будет совершенно произвольным, и делать его нельзя. Ведь подобная связь бывает то с прямым знаком, то с обратным.

Вот, скажем, в личных, частных отношениях: ночуя у друзей, на совместных прогулках, оказывая помощь товарищам, Ленин неизменно проявлял деликатность, мягкость, вежливость. И одновременно и постоянно Ленина отличала безжалостность, резкость, грубость по отношению к политическим противникам. Он никогда не допускал возможности хотя бы частичной правоты своих противников, хотя бы частичной своей неправоты.

«Продажный... лакей... холуй... наймит... агент... Иуда, купленный за тридцать сребреников...» — такими словами Ленин часто говорил о своих оппонентах.

Ленин в споре не стремился убедить противника. Ленин в споре вообще не обращался к своему оппоненту, он обращался к свидетелям спора. Его целью было перед лицом свидетелей спора высмеять,

скомпрометировать своего противника. Такими свидетелями спора могли быть и несколько близких друзей, и тысячная масса делегатов съезда, и миллионная масса читателей газет.

Ленин в споре не искал истины, он искал победы. Ему во что бы то ни стало надо было победить, а для победы хороши были многие средства. Здесь хороши были и внезапная подножка, и символическая пощечина, и символический, условный, ошеломляющий удар кулаком по кумполу.

И оказалось, что житейские, бытовые, семейные черты Ленина никак не были связаны с чертами лидера нового мирового порядка.

Затем, когда спор перешел со страниц журналов и газет на улицы, на поля ржи и на поля войны, оказалось, что и тут хороши жестокие средства.

Ленинская нетерпимость, непоколебимое стремление к цели, презрение к свободе, жестокость по отношению к инакомыслящим и способность, не дрогнув, смести с лица земли не только крепости, но волости, уезды, губернии, оспорившие его ортодоксальную правоту, — все эти черты не возникли в Ленине после Октября. Эти черты были и у Володи Ульянова. У этих черт глубокие корни.

Все его способности, его воля, его страсть были подчинены одной цели — захватить власть.

Он жертвовал ради этого всем, он принес в жертву, убил ради захвата власти самое святое, что было в России, — ее свободу. Эта свобода была детски беспомощна, неопытна. Откуда ей, восьмимесячному младенцу, рожденному в стране тысячелетнего рабства, иметь опыт?

Черты интеллигента, казавшиеся истинным содержанием ленинской души и ленинского характера, едва дело доходило до дела, уходили во внешнюю, незначащую форму, а характер его проявлялся в несгибаемой, железной и исступленной воле.

Что вело Ленина путем революции? Любовь к людям? Желание побороть бедствия крестьян, нищету и бесправие рабочих? Вера в истинность марксизма, в свою партийную правоту?

Русская революция для него не была русской свободой. Но власть, к которой он так страстно стремился, была нужна не ему лично.

Вот здесь проявилась одна из особенностей Ленина: сложность характера, рожденная из простоты характера.

Для того, чтобы с такой мощью жаждать власти, надо обладать огромным политическим честолюбием, огромным властолюбием. Черты эти грубы и просты. Но ведь этот политический честолюбец, способный на все в своем стремлении к власти, был лично необычайно скромен, власть он завоевывал не для себя. Тут кончается простота и начинается сложность.

Если представить себе Ленина-человека эквивалентным Ленину-политику, то возникнет характер примитивный и грубый, нахрапистый, властный, безжалостный, бешено честолюбивый, догматически крикливый.

Если соотнести эти черты к обыденной жизни, приложить их по отношению к жене, матери, детям, другу, соседу по квартире. Жутко становится.

Но ведь оказалось совсем иное. Человек на мировой арене оказался обратен человеку в личной жизни. Плюс и минус, минус и плюс.

И получается совсем иное, сложное, порой трагичное.

Бешеное политическое властолюбие, соединенное со стареньким пиджаком, со стаканом жиденького чая, со студенческой мансардой.

Способность, не колеблясь, втоптать в грязь, оглушить противника в споре, непонятным образом соединенная с милой улыбкой, с застенчивой деликатностью.

Неумолимая жестокость, презрение к высшей святыне русской революции — свободе и тут же рядом, в груди того же человека, чистый, юношеский восторг перед прекрасной музыкой, книгой.

Ленин... Обогащенный образ; второй — монолитный простак, созданный врагами Ленина, соединивший, сливший в себе жестокие черты лидера нового мирового порядка с примитивно грубыми житейскими чертами, — лишь эти черты видели в Ленине его враги; наконец, тот, который мне кажется наиболее близким к действительности, и в нем непросто разобраться.

Чтобы понять Ленина, недостаточно взглядеться в человеческие, житейские черты его. Недостаточны черты Ленина-политика, нужно соотнести характер Ленина сперва к мифу национального русского характера, а затем к року, характеру русской истории.

Ленинская аскетичность, естественная скромность сродни русским странникам, его прямодушие и вера отвечают народному идеалу жизнеучителя, его привязанность к русской природе в ее лесном и луговом образе сродни крестьянскому чувству. Его восприимчивость к миру западной мысли, к Гегелю и Марксу, его способность впитывать в себя и выражать дух Запада есть проявление черты глубоко русской, объявленной Чаадаевым, это та всемирная отзывчивость, изумляющая глубина русского перевоплощения в дух чужих народов, которую Достоевский увидел в Пушкине. Этой чертой Ленин роднится с Пушкиным. Этой чертой был наделен Петр I.

Ленинская одержимость, убежденность — словно бы сродни аввакумовскому исступлению, аввакумовской вере. Аввакум — явление самородной, русское.

В прошлом веке отечественные мыслители искали объяснения исторического пути России в особенностях русского национального характера, в русской душе, в русской религиозности.

Чаадаев, один из умнейших людей девятнадцатого века, оповестил аскетический, жертвенный дух русского христианства, его не замутненную ничем наносным византийскую природу.

Достоевский считал всечеловечность, стремление к всечеловеческому слиянию истинной основой русской души.

Русский двадцатый век любит повторять те предсказания, что сделали о нем мыслители и пророки России в веке девятнадцатом, — Гоголь, Чаадаев, Белинский, Достоевский.

Да и кто не любил бы повторять о себе подобное...

Пророки девятнадцатого века предсказывали, что в будущем русские станут во главе духовного развития не только европейских народов, но и народов всего мира.

Не о военной славе русских, а о славе русского сердца, русской веры и русского примера говорили предсказатели.

«Птица тройка...» «Русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону...» «Тогда мы естественно займем свое место среди народов, которым предназначено действовать в человечестве не только в качестве таранов, но и в качестве идей» «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты...»

И тут же Чаадаев гениально различил поразительную черту русской истории: «...колоссальный факт постепенного закрепощения нашего крестьянства, представляющий собой не что иное, как строго логическое следствие нашей истории».

Неумолимое подавление личности неотступно сопутствовало тысячелетней истории русских. Холопское подчинение личности государю и государству. Да, и эти черты видели, признавали пророки России.

И вот наряду с подавлением человека князем, помещиком, государем и государством — пророки России сознавали невиданную западным миром чистоту, глубину, ясность, Христову силу души русского человека. Ей, русской душе, и пророчили пророки великое и светлое будущее. Они сходились на том, что в душе русских идея христианства воплощена в безгосударственной, аскетической, византийской, антизападной форме, и что силы, присущие русской народной душе, выразят себя в мощном воздействии на европейские народы, очистят, преобразуют, осветят в духе братства жизнь западного мира, и что западный мир доверчиво и радостно пойдет за русским всечеловеком. Эти пророчества сильнейших умов и сердец России обхединялись одной общей им роковой чертой. Все они видели силу русской души, прозревали ее значение для мира, но не видели они, что особенности русской души рождены несвободой, что русская душа — тысячелетняя раба. Что даст миру тысячелетняя раба, пусть и ставшая всесильной?

И вот девятнадцатый век, казалось, приблизил наконец время, предсказанное пророками России, время, когда Россия, столь восприимчивая к чужой проповеди и к чужому примеру, жадно

поглощавшая и всасывавшая чужие духовные влияния, сама готовила себя к воздействию на мир.

Сто лет Россия впитывала в себя заносную идею свободы. Сто лет пила Россия устами Пестеля, Рылеева, Герцена, Чернышевского, Лаврова, Бакунина, устами писателей своих, мученическими устами Желябова, Софьи Перовской, Тимофея Михайлова, Кибальчича, устами Плеханова, Кропоткина, Михайловского, устами Сазонова и Каляева, устами Ленина, Мартова, Чернова, устами своей разночинной интеллигенции, своего студенчества, своих передовых рабочих — мысль философов и мыслителей западной свободы. Эту мысль несли книги, кафедры университетов, гейдельбергские и парижские студенты, ее несли сапоги бонапартовых солдат, ее несли инженеры и просвещенные купцы, ее несла служивая западная беднота, чье чувство человеческого достоинства вызывало завистливое удивление русских князей.

И вот, оплодотворенная идеями свободы и достоинства человека, совершилась русская революция.

Что же содеяла русская душа с идеями западного мира, как преобразовала их в себе, в какой кристалл выделила их, какой побег готовилась выгнать из подсознания истории?

«...Русь, куда же несешься ты?... Не дает ответа...»

Подобно женихам прошли перед юной Россией, сбросившей цепи царизма, десятки, а может быть, и сотни революционных учений, верований, лидеров, партий, пророчеств, программ... Жадно, со страстью и с мольбой вглядывались вожди русского прогресса в лицо невесты.

Широким кругом стояли они — умеренные, фанатики, трудовики, народники, рабочелюбцы, крестьянские заступники, просвещенные заводчики, светлюбивые церковники, бешеные анархисты.

Невидимые, часто неощущаемые ими нити связывали их с идеями западных конституционных монархий, парламентов, образованнейших кардиналов и епископов, заводчиков, ученых землевладельцев, лидеров рабочих профессиональных союзов, проповедников, университетских профессоров.

Великая раба остановила свой ищущий, сомневающийся, оценивающий взгляд на Ленине. Он стал избранником ее.

Он разгадал, как в старой сказке, ее затаенную мысль, он растолковал ее недоуменный сон, ее помысел.

Но так ли?

Он стал избранником ее потому, что он избрал ее, и потому, что она избрала его.

Она пошла за ним — он обещал ей золотые горы и реки, полные вина, и она пошла за ним сперва охотно, веря ему, по веселой хмельной дороге, освещенной горящими помещичьими усадьбами, потом оступаясь, оглядываясь, ужасаясь пути, открывшегося ей, но все крепче и крепче чувствуя железную руку, что вела ее.

И он шел, полный апостольской веры, вел за собой Россию, не понимая чудного наваждения, творившегося с ним. В ее послушной поступи, в ее новой, после свержения царя, покорности, в ее податливости, сводившей с ума, тонуло, гибло, преображалось все, что он принес России из свободолобивого, революционного Запада.

Ему казалось, что в его непоколебимой, диктаторской силе залог чистоты и сохранности того, чему он верил, что принес своей стране.

Он радовался этой силе, отождествлял ее с правотой своей веры и вдруг, на мгновение, со страхом видел, что в его непоколебимости, обращенной к мягкой русской покорности и внушаемости, и есть его высшее бессилие.

И чем суровее делалась его поступь, чем тяжелее становилась его рука, чем послушнее становилась его ученому и революционному насилию Россия, тем меньше была его власть бороться с поистине сатанинской силой крепостной старины.

Подобно тысячелетнему спиртовому раствору, крепко в русской душе крепостное, рабское начало. Подобно дымящейся от собственной силы царской водке, оно растворило металл и соль человеческого достоинства, преобразило душевную жизнь русского человека.

Девятьсот лет просторы России, порождавшие в поверхностном восприятии ощущение душевного размаха, удали и воли, были немой ретортой рабства.

Девятьсот лет уходила Россия от диких лесных поселений, от чадных курных изб, от скитов, от бревенчатых палат к уральским заводам, к донецкому углю, к петербургским дворцам, Эрмитажу, к могучей своей артиллерии, к своим тульским металлургам и токарям, к фрегатам и паровым молотам.

В поверхностном восприятии рождалось однозначное ощущение растущего просвещения и сближения с Западом.

Но чем больше становилась схожа поверхность русской жизни с жизнью Запада, чем более заводской грохот России, стук колес ее тарантасов и поездов, хлопанье ее корабельных парусов, хрустальный свет в окнах ее дворцов напоминали о западной жизни, тем больше росла тайная пропасть в самой сокровенной сути русской жизни и жизни Европы.

Бездна эта была в том, что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства.

История человека есть история его свободы. Рост человеческой мощи выражается прежде всего в росте его свободы. Свобода не есть осознанная необходимость, как думал Энгельс. Свобода прямо противоположна необходимости, свобода есть преодоленная необходимость. Прогресс в основе своей есть прогресс человеческой свободы. Да ведь и сама жизнь есть свобода, эволюция жизни есть эволюция свободы.

Русское развитие обнаружило странное существо свое — оно стало развитием несвободы. Год от года все жестче становилась крестьянская крепость, все таяло мужицье право на землю, а между тем русские наука, техника, просвещение все росли да росли, сливаясь с ростом русского рабства.

Рождение русской государственности было ознаменовано окончательным закрепощением крестьян: упразднен был последний день мужицкой свободы — двадцать шестое ноября — Юрьев день.

Все меньше становилось «вольных», «бродячих» людей, все множилось число холопов, и Россия стала выходить на широкий путь европейской истории. Прикрепленный к земле стал прикреплен к хозяину земли, потом и к служивому человеку, представлявшему государство и войско; и хозяин получил право суда над крепостным, а потом и право московской пытки (так ее называли четыре века назад) — это подвешивание за связанные за спиной руки, битье кнутом. И росла русская металлургия, ширились лабазы, крепло государство и войско, разгоралась заря русской воинской славы, ширилась грамотность.

Могучая деятельность Петра, основоположника русского научного и промышленного прогресса, связалась со столь же могучим

прогрессом крепостного права. Петр приравнял крепостных, сидевших на земле, к холопам — дворовым, обратил «гулящих» людей в крепостных. Он закрепостил «черносошных» на севере и «одnodворцев» на юге. Помимо помещичьего крепостного права, при Петре зацвело государственное крепостное право — оно помогало Петрову просвещению и прогрессу. Петру казалось, что он сближает Россию с Западом, да так и было оно, но пропасть, бездна между свободой и несвободой все росла и росла.

И вот пришел блистательный век Екатерины, век дивного цветения русских искусств и русского просвещения, век, когда русское крепостное право достигло своего высшего развития.

Так тысячелетней цепью были прикованы друг к другу русский прогресс и русское рабство. Каждый порыв к свету углублял черную яму крепостничества.

Девятнадцатый век — особый век в жизни России.

В этот век заколебался основной принцип русской жизни — связь прогресса с крепостничеством.

Революционные мыслители России не оценили значение совершившегося в девятнадцатом веке освобождения крестьян. Это событие, как показало последующее столетие, было более революционным, чем события Великой Октябрьской социалистической революции: это событие поколебало тысячелетнюю основу основ России, основу, которой не коснулись ни Петр, ни Ленин: зависимость русского развития от роста рабства.

После освобождения крестьян революционные лидеры, интеллигенция, студенчество бурно, со страстной силой, с самоотверженностью боролось за неведомое Россией человеческое достоинство, за прогресс без рабства. Этот новый закон был полностью чужд русскому прошлому, и никто не знал, какова же станет Россия, если она откажется от тысячелетней связи своего развития с рабством, каков же станет русский характер?

В феврале 1917 года перед Россией открылась дорога свободы. Россия выбрала Ленина.

Огромна была ломка русской жизни, произведенная Лениным. Ленин сломал помещичий уклад. Ленин уничтожил заводчиков, купцов.

И все же рок русской истории определил Ленину, как ни дико и странно звучит это, сохранить проклятие России: связь ее развития с несвободой, с крепостью.

Лишь те, кто покушается на основу основ старой России — ее рабскую душу, — являются революционерами.

И так сложилось, что революционная одержимость, фанатическая вера в истинность марксизма, полная нетерпимость к инакомыслящим привели к тому, что Ленин способствовал колоссальному развитию той России, которую он ненавидел всеми силами своей фанатичной души.

Действительно трагично, что человек, так искренне упивавшийся книгами Толстого и музыкой Бетховена, способствовал новому закреплению крестьян и рабочих, превращению в холуев из государственной людской выдающихся деятелей русской культуры, подобных Алексею Толстому, химику Семенову, музыканту Шостаковичу.

Спор, затеянный сторонниками русской свободы, был наконец решен — русское рабство и на этот раз оказалось непобедимо.

Победа Ленина стала его поражением.

Но трагедия Ленина была не только русской трагедией, она стала трагедией всемирной.

Думал ли он, что в час совершенной им революции не Россия пойдет за социалистической Европой, а таившееся русское рабство выйдет за пределы России и станет факелом, освещающим новые пути человечества.

Россия уже не впитывала свободный дух Запада, Запад зачарованными глазами смотрел на русскую картину развития, идущего по пути несвободы.

Мир увидел чарующую простоту этого пути. Мир понял силу народного государства, построенного на несвободе.

Казалось, свершилось то, что предвидели пророки России сто и полтора столетия тому назад.

Но как странно и страшно свершилось.

Ленинский синтез несвободы с социализмом ошеломил мир больше, чем открытие внутриатомной энергии.

Европейские апостолы национальных революций увидели пламень с Востока. Итальянцы, а затем немцы, стали по-своему развивать идеи национального социализма.

А пламя все разгоралось — его восприняла Азия, Африка.

Нации и государства могут развиваться во имя силы и вопреки свободе!

Это не была пища для здоровых, это было наркотическое лекарство неудачников, больных и слабых, отсталых или битых.

Тысячелетний русский закон развития волей, страстью, гением Ленина стал законом всемирным.

Таков был рок истории.

Ленинская нетерпимость, напор, ленинская непоколебимость к инакомыслящим, презрение к свободе, фанатичность ленинской веры, жестокость к врагам, все то, что принесло победу ленинскому делу, рождены, откованы в тысячелетних глубинах русской крепостной жизни, русской несвободы. Потому-то ленинская победа послужила несвободе. А рядом тут же, бесплотно, не знача, продолжались и жили чаровавшие миллионы людей ленинские черты милого, скромного русского трудового интеллигента.

Что ж. По-прежнему ли загадочна русская душа? Нет, загадки нет.

Да и была ли она? Какая же загадка в рабстве?

Что ж, это действительно именно русский и только русский закон развития? Неужели русской душе, и только ей, определено развиваться не с ростом свободы, а с ростом рабства? Действительно, сказывается ли здесь рок русской души?

Нет, нет конечно.

Закон этот определен теми параметрами, а их десятки, а, может быть, и сотни, в которых шла история России.

Не в душе тут дело. И пусть в эти параметры, в леса и степи, в топи и равнины, в силовое поле между Европой и Азией, в русскую трагическую огромность тысячу лет назад вросли бы французы, немцы, итальянцы, англичане — закон их истории стал бы тем же, каким был закон русского движения. Да и не одни русские познали эту дорогу. Немало есть народов на всех континентах Земли, которые то отдаленно, смутно, то ближе, ясней в своей горечи узнавали горечь русской дороги.

Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души.

И в восхищении византийской аскетической чистотой, христианской кротостью русской души живет невольное признание

незыблемости русского рабства. Истоки этой христианской кротости, этой византийской аскетической чистоты те же, что и истоки ленинской страсти, нетерпимости, фанатической веры — они в тысячелетней крепостной несвободе.

И потому-то так трагически ошиблись пророки России. Да где же она, «русская душа, — всечеловеческая и всесоединяющая», которой предсказывал Достоевский «изречь окончательные слова великой общей окончательной гармонии, братского окончательного согласия всех времен по Христову евангельскому закону»?

Да в чем же она, господи, эта всечеловеческая и всесоединяющая душа? Думали ли пророки России в соединенном скрежете колючей проволоки, что натягивали в сибирской тайге и вокруг Освенцима, увидеть свершение своих пророчеств о будущем всесветном торжестве русской души?

Ленин во многом противоположен пророкам России. Он бесконечно далек от их идей кротости, византийской, христианской чистоты и евангельского закона. Но удивительно и странно — он одновременно вместе с ними. Он, идя совсем иной, своей, ленинской дорогой, не старался уберечь Россию от тысячелетней бездонной трясины несвободы, он, как и они, признал незыблемость русского рабства. Он, как и они, рожден нашей несвободой.

Крепостная душа русской души живет и в русской вере, и в русском неверии, и в русском кротком человеколюбии, и в русской бесшабашности, хулиганстве и удали, и в русском скопидомстве и мещанстве, и в русском покорном трудолюбии, и в русской аскетической чистоте, и в русском сверхмошенничестве, и в грозной для врага отваге русских воинов, и в отсутствии человеческого достоинства в русском характере, и в отчаянном бунте русских бунтовщиков, и в исступлении сектантов, крепостная душа и в ленинской революции, и в страстной восприимчивости Ленина к революционным учениям Запада, и в ленинской одержимости, и в ленинском насилии, и в победах ленинского государства.

Всюду в мире, где существует рабство, рождаются и подобные души.

Где же надежда России, если даже великие пророки ее не различали свободы от рабства?

Где же надежда, если гении России видят кроткую и светлую красоту ее души в ее покорном рабстве?

Где же надежда России, если величайший преобразователь ее, Ленин, не разрушил, а закрепил связь русского развития с несвободой, с крепостью?

Где пора русской свободной, человеческой душе? Да когда же наступит она?

А может быть, и не будет ее, никогда не настанет?

Ленин умер. Но не умер ленинизм. Не ушла из рук партии завоеванная Лениным власть. Товарищи Ленина, его помощники, его сподвижники и ученики продолжали ленинское дело.

...те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь: Ленин умер,
Их смерть к тоске не привела,
Еще суровой и угрюмой они творят его дела.

Осталась завоеванная Лениным диктатура партии, созданные им армия, милиция, ВЧК, ликбезы, рабфаки. Двадцать восемь томов произведений остались после смерти Ленина. Кто же из соратников его возможно глубже и полнее сумеет вобрать в себя, выразить своим характером, сердцем, мозгом истинную, главную суть ленинизма? Кто примет знамя Ленина, кто понесет его, кто построит великое государство, заложенное Лениным, кто поведет партию нового типа от победы к победе, кто закрепит новый порядок на земле?

Блестящий, бурный, великолепный Троцкий? Наделенный проникновенным даром обобщателя и теоретика обаятельный Бухарин? Наиболее близкий народному, крестьянскому и рабочему интересу практик государственного дела волоокий Рыков? Способный к любым многосложным сражениям в конвенте, изощренный в государственном руководстве, образованный и уверенный Каменев? Знаток международного рабочего движения, полемист-дуэлянт международного класса Зиновьев?

Характер, дух каждого из них был близок, созвучен тем или иным граням ленинского характера. Но оказалось, что эти грани ленинского характера не были главными, основными, определяющими суть, корень рождающейся нови.

Роковым образом случилось так, что все черты ленинского характера, которые были выражены в характере почти гениального

Троцкого, Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева, оказались крамольными чертами, привели всех названных лидеров к плахе, гибели.

Суть ленинского характера была не в этих чертах и гранях. В них оказалась ленинская слабость, крамола, ленинские чудачества, иллюзии, суть нови была не в них.

Ведь и черты Луначарского были в некой ленинской грани, слушавшей «Аппассионату» и упивавшейся «Войной и миром». Но уж не бедняге Луначарскому было определено сурово и угрюмо творить главное дело ленинской партии. Не Троцкому, Бухарину, Рыкову, Каменеву, Зиновьеву судила история выразить сокровенную суть Ленина.

Ненависть Сталина к лидерам оппозиции была его ненавистью к тем чертам ленинского характера, которые противоречили ленинской сути.

Сталин казнил ближайших друзей и соратников Ленина, потому что они, каждый по-своему, мешали осуществиться тому главному, в чем была сокровенная суть Ленина.

Борясь с ними, казня их, он как бы и с Лениным боролся, и Ленина казнил. Но одновременно именно он победоносно утвердил Ленина и ленинизм, поднял и укрепил над Россией ленинское знамя.

Имя Сталина навечно вписано в историю России.

Послереволюционная Россия, взглядываясь в Сталина, познала себя.

Двадцать восемь томов ленинских сочинений — речей, докладов, программ экономических и философских исследований — не послужили самопознанию Россией себя, своей судьбы. Хаос, превышающий вавилонский, был вызван смешением западной революции с русским строем развития и жизни.

Не только матросы и конники Буденного, не только русское крестьянство и рабочие но и сам Ленин были беспомощны в понимании истины произошедшего. Рев революционной бури, законы материалистической диалектики, логика «Капитала» смешались с уханьем гармошек, с «Яблочком» и «Цыпленком жареным», с гудением самогонных аппаратов, с призывом лекторов и агитаторов, обращенным к матросам и рабфаковцам, не поддаваться ядовитой ереси Каутского, Кунова, Гильфердинга.

Огонь, бунт, разгул, охватившие Россию, подняли со дна российского котла груз обиды и злобы, накопившийся за столетия народного крепостного страдания.

Из романтики революции, из безумств Пролеткульта, из зеленых самогонных республик, из хмельного удализма и мужичьего бунта, из матросского бешенства на «Алмазе» поднимался новый, могучий, еще не виданный Россией полицмейстер.

Страстное народное желание стать хозяином пахотной земли, понятое Лениным и возглавленное Лениным, было враждебно государству, основанному Лениным, несовместимо с этим государством. С этим стремлением народа стать хозяином земли было непоколебимо покончено.

В 1930 году государство, основанное Лениным, стало безраздельным хозяином всех земель, лесов, вод в Советском Союзе, полностью отстранив от владения пахотной землей крестьянство.

Путаница, противоречия, туман царили не только на узловых станциях, пристанях и крышах эшелонов, не только в деревенских чаяниях и в воспаленных головах поэтов. Путаница и туман царили в

области революционной теории, в ошеломляющих противоречиях с практикой кристально ясных построений первого теоретика партии.

Основной ленинский лозунг был «Вся власть Советам», но дальнейший ход жизни показал, что созданные Лениным Советы не имели и не имеют по сей день никакой власти — являются инстанцией чисто формальной или служебноисполнительной.

Весь теоретический пафос молодого Ленина был направлен на борьбу с народничеством, эсерами, на доказательство того, что Россию не минет капиталистический путь развития. А весь пафос Ленина в 1917 году был направлен на доказательство того, что Россия, минуя капиталистический путь, сопряженный с демократическими свободами, может и должна пойти дорогой пролетарской революции.

И мог ли думать Ленин, что, основав Коммунистический Интернационал и провозглашая на Втором конгрессе Коминтерна лозунг мировой революции, провозглашая «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», он готовил почву для невиданного в истории роста принципа национального суверенитета?

Эта сила государственного национализма и этот бешеный национализм людских масс, лишенных свободы и человеческого достоинства, стали главным рычагом, термоядерной боеголовкой нового порядка, определили рок двадцатого века.

Сталин вправил мозги послеоктябрьской, послеленинской России, роздал всем сестрам по серьгам, а кому серег не полагалось, оторвал их вместе с ушами либо с головой.

Партии большевиков предстояло стать партией национального государства. Слияние партии и государства нашло свое выражение в личности Сталина. В Сталине, в его характере, уме, воле государство выразило свой характер, свою волю, свой ум.

Казалось, Сталин строил основанное Лениным государство по образу и подобию своему. Но дело, конечно, было не в этом — его образ был подобием государства, потому-то он и стал хозяином.

Но, видимо, иногда, особенно под конец жизни, ему казалось, что государство слуга его.

В Сталине, в его характере, соединившем в себе азиата и европейского марксиста, выразился характер советской государственности. Именно государственности! В Ленине воплотилось русское национальное историческое начало, в Сталине — русская

советская государственность. Русская государственность, рожденная Азией и рядящаяся под Европу, не исторична, она надисторична.

Ее принцип универсален, незыблем, применим ко всем укладам России на протяжении ее тысячелетней истории. С помощью Сталина унаследованные от Ленина революционные категории диктатуры, террора, борьбы с буржуазными свободами, казавшиеся Ленину категориями временными, — были перенесены в основу, в фундамент, в суть, слились с традиционной, национальной тысячелетней русской несвободой. С помощью Сталина эти категории и сделались содержанием государства, а социал-демократические пережитки были изгнаны в форму, в театральную декорацию.

Все черты не ведающей жалости к людям крепостной России собрал в себе характер Сталина.

В его невероятной жестокости, в его невероятном вероломстве, в его способности притворяться и лицемерить, в его злопамятстве и мстительности, в его грубости, в его юморе — выразился сановный азиат.

В его знаниях революционных учений, в пользовании терминологией прогрессивного Запада, в знании литературы и театра, любимых русской демократической интеллигенцией, в его цитатах из Гоголя и Щедрина, в его умении пользоваться тончайшими приемами конспирации, в его аморальности — выразился революционер нечаевского типа, того, для которого любые средства оправданы грядущей целью. Но, конечно, Нечаев бы содрогнулся, увидев, до каких чудовищных размеров довел нечаевщину Иосиф Сталин.

В его вере в чиновную бумагу и полицейскую силу как главную силу жизни, в его тайной страсти к мундирам, орденам, в его беспримерном презрении к человеческому достоинству, в обоготворении им чиновного порядка и бюрократии, в его готовности убить человека рада святой буквы закона и тут же пренебречь законом ради чудовищного произвола выразился полицейский чин, жандармский туз.

Вот здесь-то и был характер Сталина, в соединении этих трех Сталиных.

Вот эти три Сталина и создали сталинскую государственность — ту, для которой закон есть лишь орудие произвола, а произвол — закон, ту, что тысячелетними корнями своими ушла в крепостное прошлое,

обратившее мужиков в рабов, в татарское иго, обратившее в холопов тех, кто княжит над мужиками, ту, что одновременно граничит с вероломной, мстительной, лицемерной и жестокой Азией и с просвещенной, демократичной, торгашеской и продажной Европой.

Этот азиат в шевровых сапожках, цитирующий Щедрина, живущий законами кровной мести и одновременно пользующийся словарем революции, внес ясность в послеоктябрьский хаос, осуществил, выразил свой характер в характере государства.

Главный принцип построенного им государства в том, что это государство без свободы.

В этой стране гигантские заводы, искусственные моря, каналы, гидростанции не служат человеку, они служат государству без свободы.

В этом государстве человек не сеет то, что хочет посеять, человек не хозяин поля, на котором работает, не хозяин яблонь и молока; земля родит по инструкции государства без свободы.

В этом государстве не только малые народы, но и русский народ не имеют национальной свободы. Там, где нет человеческой свободы, не может быть и национальной свободы, ведь национальная свобода — это прежде всего свобода человека.

В этом государстве нет общества, так как общество основано на свободной близости и свободном антагонизме людей, а в государстве без свободы немыслима свободная близость и вражда.

Тысячелетний принцип роста русского просвещения, науки и промышленной мощи через посредство роста человеческой несвободы, принцип, возвращенный боярской Русью, Иваном Грозным, Петром, Екатериной, этот принцип достиг при Сталине полного своего торжества.

И поистине удивительно, что Сталин, так основательно разгромив свободу, все же продолжал бояться ее.

Быть может, что страх перед ней и заставлял Сталина проявлять его поистине невиданное лицемерие.

Лицемерие Сталина ясно выразило лицемерие его государства. И лицемерие это главным образом выразилось в игре в свободу. Государство не оплевывало мертвую свободу! Драгоценнейшее, живое, радиоактивное содержание свободы и демократии было умерщвлено и превращено в чучело, в словесную шелуху. Так дикари, в чьи руки

лопали тончайшие секстанты и хронометры, используют их в качестве украшений.

Умерщвленная свобода стала украшением государства, но украшением не бесполезным. Мертвая свобода стала главным актером в гигантской инсценировке, в театральном представлении невиданного объема. Государство без свободы создало макет парламента, выборов, профессиональных союзов, макет общества и общественной жизни. В государстве без свободы макеты правлений колхозов, правлений союзов писателей и художников, макеты президиумов райисполкомов, и облисполкомов, макеты бюро и пленумов райкомов, обкомов и центральных комитетов национальных компартий обсуждали дела и выносили решения, которые были вынесены заранее совсем в другом месте. Даже Президиум Центрального Комитета партии был театром.

Этот театр был в характере Сталина. Этот театр был в характере государства без свободы. Поэтому государству и понадобился Сталин, осуществивший через свой характер характер государства.

Что же было реальностью, а не театром? Кто же действительно решал, а не делал вид, что решает?

Реальной силой был Сталин. Он решал. Но, конечно, он не мог лично решить все вопросы в государстве — дать ли отпуск учительнице Семеновой, сеять ли в колхозе «Заря» горох или капусту.

Хотя принцип государства без свободы требовал, чтобы именно так обстояло дело, чтобы Сталин решал все вопросы без изъятия. Но физически это оказалось невозможно, и второстепенные вопросы решали доверенные люди Сталина, решали всегда одинаково: в духе Сталина.

Только поэтому они были доверенными людьми Сталина или доверенными его доверенных. Их решения были объединены одной общей чертой — независимо от того, касались ли они постройки гидростанции в нижнем течении Волги либо посылки на двухмесячные курсы доярки Анюты Феоктистовой — они выносились в духе Сталина. Суть ведь была в том, что дух Сталина и дух государства были едины.

Доверенные Сталина-Государства сразу были видны на любых заседаниях, собраниях, летучках, съездах — с ними никто никогда не спорил: они ведь говорили именем Сталина-Государства.

То, что государство без свободы всегда действовало от имени свободы и демократии, боялось ступить шаг без упоминания ее имени, свидетельствовало о силе свободы. Сталин мало кого боялся, но постоянно и до конца своей жизни он боялся свободы, — убив ее, он заискивал перед нею мертвой.

Ошибочно мнение, что дела времен коллективизации и времен ежовщины — бессмысленные проявления бесконтрольной и безграничной власти, которой обладал жестокий человек.

В действительности кровь, пролитая в тридцатом и тридцать седьмом годах, была нужна государству, как выражался Сталин, — не прошла даром. Без нее государство бы не выжило. Ведь эту кровь пролила несвобода, чтобы преодолеть свободу. Дело это давнее, началось оно при Ленине.

Свобода была преодолена не только в области политики и общественной деятельности. Свобода была преодолена в сельском хозяйстве — в праве свободно сеять и убирать урожай, свобода была преодолена в поэзии и философии, в сапожном мастерстве, в круге чтения, в перемене места жительства, в труде рабочих, чьи нормы выработки, условия техники безопасности, заработная плата целиком определялись волей государства.

Несвобода безраздельно торжествовала от Тихого океана до Черного моря. Она была всюду и во всем. И везде и во всем была убита свобода.

Это было победоносное наступление, и совершить его можно было, лишь пролив много крови: ведь свобода — это жизнь, и, преодолевая свободу, Сталин убивал жизнь.

Характер Сталина выразился в гигантах пятилеток, эти гремящие пирамиды двадцатого века соответствовали пышным памятникам и дворцам азиатской древности, которые пленили душу Сталина. Эти гигантские стройки не служили человеку так же, как не нужны были богу гигантские храмы и мечети.

С выпуклой силой характер Сталина выразился в деятельности созданных им органов безопасности.

Пыточные допросы, истребительная деятельность опричнины, призванной уничтожать не только людей, но и сословия, методы сыска, развивавшиеся от Малюты Скуратова до графа Бенкендорфа, — все

это нашло свои эквиваленты в душе Сталина, в делах созданного им карательного аппарата.

Но, пожалуй, особо зловещими были те эквиваленты, что объединили в единстве сталинской натуры русское революционное начало с началом могучей и безудержной, русской же, тайной полиции.

Это объединение революции и полицейского сыска, произошедшее в натуре Сталина, и отраженное в созданных им органах безопасности, также имело свой прообраз в русском государстве

Объединение Дегаева-народовольца, интеллигента, а впоследствии агента охраны с начальником политического сыска полковником Судейкиным, произошедшее в годы, когда Иосиф Джугашвили был крошкой, ребенком, и стало прообразом этого зловещего альянса.

Судейкин, умница, скептик, знаток и ценитель революционной силы России, насмешливый созерцатель убожества царя и царских министров, которым он служил, использовал народовольца Дегаева в своих полицейских целях. Народоволец Дегаев служил одновременно в революции и в полиции.

Планам Судейкина не суждено было сбыться. Он хотел с помощью революции, попустительствуя ей, а затем создавая липу, туфту, фальшивые дела, запугать царя, прийти к власти, стать диктатором. Он хотел, возглавив государство, уничтожить дотла революцию. Но дерзкие мечты его не состоялись — Дегаев убил Судейкина.

Сталин же победил. В его победе, где-то тайно от всех и тайно от него самого, жила победа судейкинской мечты — запрячь в возок двух лошадей: революцию и тайную полицию.

Сталин, рожденный революцией, расправился с революцией и революционерами с помощью полицейского аппарата.

Быть может, мучившая его мания преследования была вызвана тайным, таившимся в его подсознании страхом Судейкина перед Дегаевым?

Покорный, обузданный в третьем отделении революционер-народоволец все же внушал ужас полицейскому полковнику, особенно страшно было то, что оба они, вероломствуя, дружа и враждуя, жили в тесной тьме сталинской души.

И, быть может, здесь или, во всяком случае, где-то поблизости, лежит объяснение одного из наибольших недоумений современников поры 1937 года — зачем было, уничтожая невинных, преданных революции людей, разрабатывать подробнейшие, лживые от начала до конца сценарии их участия в вымышленных, несуществующих заговорах?

Мучительными пытками, длящимися сутками, неделями, месяцами, а иногда и годами, органы безопасности заставляли несчастных, истерзанных бухгалтеров, инженеров, агрономов участвовать в театральные представлениях, играть роль злодеев, агентов заграницы, террористов, вредителей.

Для чего делалось это? Миллионы раз миллионы людей задавали себе этот вопрос.

Ведь Судейкин, разрабатывая свои инсценировки, имел в виду обман царя. А Сталину не было нужды обманывать царя — сам Сталин и был царем.

Да, да, и все же Сталин своими инсценировками стремился обмануть царя, что незримо, помимо его воли, жил в тайной тьме его души. Незримый владыка продолжал жить всюду, где, казалось, безраздельно торжествовала несвобода. Его, единственного, до конца дней своих ужасался Сталин.

Со свободой, во имя которой началась в феврале русская революция, Сталин не мог до конца дней своих справиться кровавым насилием.

И азиат, живший в сталинской душе, пытался обмануть свободу, хитрил с ней, отчаявшись добить ее до конца.

После смерти Сталина дело Сталина не умерло. Так же в свое время не умерло дело Ленина.

Живет построенное Сталиным государство без свободы. Не ушла из рук партии созданная Сталиным мощь промышленности, Вооруженных Сил, карательных органов. Несвобода по-прежнему незыблемо торжествует от можа до можа. Не поколеблен закон всепроникающего театра, действует все та же система выборов, все так же окованы рабством рабочие союзы, все так же беспредельно несвободны и беспаспортны крестьяне, все так же талантливо трудится, шумит, жужжит в лакейских интеллигенция великой страны. Все то же кнопочное управление державой, все та же неограниченная власть великого диспетчера.

Но, конечно, неминуемо многое и изменилось, не могло не измениться.

Государство без свободы вступило в свой третий этап. Его заложил Ленин. Его построил Сталин. И вот наступил третий этап — государство без свободы построено, как говорят строители, введено в эксплуатацию.

Многое, что было необходимо в период стройки, стало теперь ненужным. Прошла пора уничтожения старых домишек на строительной площадке, уничтожения, переселения, выселения жителей из разрушенных особняков, домиков, хибарок, домин.

Небоскреб заселен новыми жильцами. Конечно, немало оказалось в нем недоделок, но нет уже нужды постоянно пользоваться истребительными приемами великого прораба, старого хозяина.

Фундамент небоскреба — несвобода — по-прежнему незыблем.

Что же дальше будет? Так ли уж незыблем этот фундамент?

Прав ли Гегель — все ли действительно разумно? Действительно ли бесчеловечное? Разумно ли оно?

Сила народной революции, начавшейся в феврале 1917 года, была так велика, что даже диктаторское государство не смогло ее заглушить. И в то время, как государство ради себя лишь одного совершало свой ужасный и жестокий путь роста и накопления, оно, само того не ведая, в чреве своем таило свободу.

Свобода совершалась в глубокой тьме и в глубокой тайне. По поверхности земли гремя катила ставшая для всех явью, сметавшая все на своем пути река. Новое национальное государство — собственник всех несметных сокровищ — заводов, фабрик, атомных котлов, всех полей, безраздельный владыка каждого живого дыхания — торжествовало победу. Революция, казалось, произошла ради него, ради его тысячелетней власти и торжества. Но владыка полумира был не только гробовщиком свободы.

Она совершалась вопреки ленинскому гению, вдохновенно сотворившему новый мир. Свобода совершалась вопреки безмерному, космическому сталинскому насилию. Она совершалась потому, что люди продолжали оставаться людьми.

У человека, совершившего революцию в феврале 1917 года, у человека, создавшего по велению нового государства и небоскребы, и заводы, и атомные котлы, нет другого исхода, кроме свободы. Потому что, создавая новый мир, человек остался человеком.

Все это иногда ясно, иногда туманно понимал и чувствовал Иван Григорьевич.

Как бы ни были огромны небоскребы и могучи пушки, как ни была безгранична власть государства и могучи империи, все это лишь дым и туман, который исчезнет. Остается, развивается и живет лишь истинная сила — она в одном, в свободе. Жить — значит быть человеку свободным. Не все действительное разумно. Все бесчеловечное бессмысленно и бесполезно!

И Ивана Григорьевича не удивляло, что слово «свобода» было на его губах, когда он студентом уходил в Сибирь, и что слово это жило, не исчезало из его головы и теперь.

Он был один в комнате, но он думал свои мысли так, словно вел разговор с Анной Сергеевной.

...Знаешь, в самые тяжелые времена я представлял себе объятия женщины, думал — так хороши они, что в этих объятиях найдешь забвение, не вспомнишь пережитого, словно не было его. А оказалось, видишь, — именно тебе и должен я рассказывать о самом тяжелом, вот и ты всю ночь говорила. Оказывается, счастье — это разделить с тобой ту тяжесть, что ни с кем, только с тобой разделишь. Вот придешь из больницы, и я расскажу тебе свой самый тяжелый час. Это был разговор в камере на рассвете после допроса. Сосед у меня был, его уж нет, он тогда же умер, Алексей Самойлович, думаю, он самый умный человек из тех, с кем мне пришлось встречаться. Но страшный для меня ум у него был. Не злой, злой ведь не страшный. А его ум не злой, но равнодушный, насмешливый к вере. Мне он был ужасен и, главное, тянул к себе, затягивал, я не мог его одолеть. А моя вера в свободу его не брала.

Жизнь у него сложилась плохо. Впрочем, жизнь как жизнь, ничего особенного, и сидел он по статье пятьдесят восемь десять, самой что ни есть обычной нашей статье.

Но голова у него была могучая. Мысль, как волна, подхватит, и я вздрагивал даже, как земля вздрагивает от удара океанской волны.

Попал я обратно в камеру после допроса. Какой список насилий, костры, тюрьмы, истребительная техника — многоэтажные замки тюремные, огромные, как областные города, лагеря. Смертная казнь началась с дубины, крушащей череп, с пеньковой петли. А сегодня палач включает рубильник и казнит сто, тысячу, десять тысяч человек. Ему уж не нужно взмахивать топором. Наш век — век высшего насилия государства над человеком. Но вот в чем сила и надежда людей. Именно двадцатый век поколебал гегелевский принцип мирового исторического процесса: «Все действительное разумно», принцип, который в тревожных десятилетних спорах освоили русские мыслители прошлого века. И именно теперь, опрокидывая гегелев закон, в пору торжества государственной мощи над свободой человека, подготавливается русскими мыслителями в лагерных ватниках высший

принцип всемирной истории: «Все бесчеловечное бессмысленно и бесполезно».

Да, да, да, во времена полного торжества бесчеловечности стало очевидно, что все созданное насилем бессмысленно и бесполезно, существует без будущего, бесследно.

Это вера моя, и я с ней вернулся в камеру. А сосед мне обычно говорил:

— Чего уж отстаивать свободу, это когда-то в ней видели закон и разум развития. А теперь, — говорит, — ясно: вообще исторического развития нет, история — процесс молекулярный, человек всегда равен себе, ничего с ним не сделаешь, нет развития. А закон простой — закон сохранения насилия. Такой же простой, как закон сохранения энергии. Насилие вечно, что бы ни делали для его уничтожения, оно не исчезает, не уменьшается, а лишь превращается. То оно в рабстве, то в монгольском нашествии. То переключается с континента на континент, то обернется классовым, то из классового станет расовым, то из материальной сферы уйдет в средневековую религиозность, то обрушится на цветных, то на писателей и художников. а в общем количество его на земле одинаково, а хаос его превращений мыслители принимают за эволюцию и ищут ее законы. А у хаоса нет законов, ни развития, ни смысла, ни цели. Вот и Гоголь, гений России, воспел птицу-тройку, в ее беге угадывал будущее, да не в той тройке, что гадал Гоголь, оказалось будущее. Вот она, тройка: русская казенная судьба, безликая тройка, особое совещание. Тройка, что приговаривала к расстрелу, составляла списки на раскулачивание, исключала юношу из университета, не давала хлебной карточки «бывшей» — старухе.

И вот он со своих нар грозит Гоголю пальцем:

— Ошиблись, Николай Васильевич, не поняли, не разглядели русской нашей птицы-тройки. Не в беге тройки история людей, а в хаосе, в вечном переходе одного вида насилия в другой. Летит птица-тройка, а все недвижно, все застыло, а главное, недвижим человек, недвижима судьба его. Насилие вечно, что бы ни делали для его уничтожения. А тройка летит, и нет ей дела до русского горя. И что русскому горю — летит она либо замерла в неподвижности.

И оказывается, совсем не та это тройка, а уж вот эта, что здесь где-то подписывает высшую меру...

И вот я лежу на нарах и все, что во мне, полуживом, живого, это моя вера: история людей есть история свободы, от меньшей к большей, история всей жизни от амебы до людского рода есть история свободы, переход от меньшей свободы к большей свободе, да и сама жизнь и есть свобода. И эта вера дает мне силу, я ощупываю драгоценную, запрятанную в тюремном тряпье чудную и светлую мысль: «Все бесчеловечное бессмысленно и бесследно».

А Алексей Самойлович слушает меня, полуживого, говорит мне:

— Это лишь утешительный обман, ведь история жизни есть история непреодоленного насилия, оно вечно и неистребимо, оно превращается, но не исчезает и не уменьшается. Да и слово — история — придумано людьми — истории нет, история есть толчение воды в ступе, человек не развивается от низшего к высшему, человек недвижим, как глыба гранита, его доброта, его ум, его свобода недвижимы, человеческое не растет в человеке. Какая же история человека, если доброта его недвижима?

И знаешь, я почувствовал — тяжелей этих минут ничего уж быть не может. Я лежу на нарах, и, боже мой, ну что ж это, и именно от умного человека пришла ко мне невыносимая тоска, вот знаешь, казнь. И даже дышать невыносимо. И одно желание — не видеть, не слышать, не дышать. Умереть. Но облегчение пришло совсем с другой стороны: меня снова потащили на допрос, отдышаться не дали. И легче стало. И я верю в неминувость свободы. К черту птицу-тройку, ту, что летит, гремит и подписывает приговора. Свобода соединится с Россией!

Ты не слышишь меня! Когда же ты вернешься ко мне из больницы?

В зимний день Иван Григорьевич проводил на кладбище Анну Сергеевну. Не пришлось ему поделиться с ней всем, что вспомнил он, что продумал, записал за месяцы ее болезни.

Он отвез вещи покойной в деревню, провел день с Алешей и снова вернулся на работу в артель.

Летом Иван Григорьевич уехал в приморский город, где под зеленой горой стоял дом его отца.

Поезд шел вдоль самого берега, и Иван Григорьевич на короткой остановке вышел из вагона, глядел на зеленую и черную, движущуюся, пахнущую соленой прохладой воду.

Море и ветер были и когда следователь вызывал его на ночной допрос, и когда копали могилу умершему на этапе зека, и когда служебные собаки лаяли под окнами барака и снег скрипел под ногами конвоиров.

Море вечно, и эта вечность его свободы казалась Ивану Григорьевичу сродни равнодушию. Морю не было до Ивана Григорьевича дела, когда он шел свою жизнь за Полярным кругом, и не будет до него дела гремящей и плещущей свободе, когда он перестанет жить. Он подумал — это не свобода, это пришедшее на землю астрономическое пространство, осколок вечности, движущейся и равнодушной.

Море — не свобода, оно подобие ее, символ ее... Как же прекрасна свобода, если напоминание о ней, подобие ее, наполняет человека счастьем.

Переночевав на вокзале, он рано утром пошел в сторону дома. В безоблачном небе поднималось осеннее солнце, и его нельзя было отличить от весеннего солнца.

Он шел в пустынной и сонной тишине, он ощутил такое смятение, что казалось, на этот раз не выдержит все выдержавшее сердце. Мир в эти минуты стал божественно неподвижен, милая святыня его детства была вечна и неизменна. Его ноги когда-то шли по этому прохладному бульжнику, его детские глаза всматривались в эти тронутые красной осенней ржавчиной округлые горы. Он слушал шум ручья, идущего к морю среди городских отбросов — арбузных корок и обглоданных кукурузных початков.

По улице в сторону базара шел старик абхазец в черной сатиновой рубахе, подпоясанный кожаным тонким пояском, нес корзину каштанов.

Быть может, у этого старика, застывшего и неизменного в своей седине. покупал в детстве Иван Григорьевич каштаны и инжир. И тот же прохладный и теплый, пахнувший морем, и горным небом, и чесночным кухонным чадом, и розами, южный утренний воздух. И те же домики с закрытыми ставнями, со спущенными занавесками. И те же, сорок лет назад бывшие, неповзрослевшие дети, те же не ушедшие в могилу старики спали за этими закрытыми ставнями.

Он вышел на шоссе и стал подниматься на гору. Шумел ручей. Иван Григорьевич помнил его голос.

Никогда он не видел свою жизнь, всю целиком, и вот, он увидел ее.

И, увидя ее, он не испытал злобы к людям.

Все они, и те, что вели его, толкая прикладом, в кабинет следователя, и те, кто не давал ему спать на допросах, и те, кто подло говорил о нем на собраниях, и те, кто отрекался от него, и те, кто крал его лагерный хлеб, и те, кто бил его, — все они в своей слабости, грубости, злобе делали зло не потому, что им хотелось причинить ему зло.

Они изменяли, клеветали, отрекались потому, что иначе не проживешь. пропадешь, и все же они были людьми. Разве эти люди хотели того, чтобы он, потеряв любовь, старый, одинокий шел к своему заброшенному дому?

Люди не хотели никому зла, но всю жизнь люди делали зло.

И все же люди были людьми. И чудное, дивное дело — хотели они того или нет — они не давали умереть свободе, и даже самые страшные из них берегли ее в своих страшных, исковерканных и все же человеческих душах.

Он ничего не достиг, после него не останется книг, картин, открытий. Он не создал школы, партии, у него не было учеников.

Почему так была тяжела его жизнь? Он не проповедовал, не учил, он оставался тем, кем был от рождения, — человеком.

Вот открылся склон горы, из-за перевала стали видны вершины дубов. В детстве ходил он там в лесном полумраке, разглядывал следы исчезнувшей жизни черкесов — одичавшие садовые деревья, остатки оград вокруг жилья.

Может быть, родной дом стоит такой же неизменный, как неизменными показались улицы, ручей.

Вот еще один виток дороги. На миг показалось ему, что невероятно яркий, никогда не виданный им свет залил землю. Еще несколько шагов — и в этом свете он увидит дом, и к нему, блудному сыну, подойдет мать, и он станет перед ней на колени, и ее молодые прекрасные руки лягут на его плешивую и седую голову.

Он увидел заросли колючки, хмеля. Ни дома, ни колодца, лишь несколько камней белело среди пыльной, выжженной солнцем травы.

Он стоял здесь — седой, сутулый и все же тот же, неизменный.

1955 — 1963

Содержание

[Василий Гроссман Все течёт](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)